

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru
Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!

Вышли мы все из народа, как нам вернуться в него? Игорь Кобзев Я начинал писать в очень сложное для нашей литературы, да и всей культуры, да и для всего общества, время. Начинал как типичный областной писатель. Обычно эти слова берут в кавычки, я этого не делаю совершенно сознательно. Мой путь в литературу не был тяжким, но и легким его назвать нельзя. Так называемое "становление писателя" происходило одновременно со становлением человека и гражданина. Это и всегда так было, но только в мирных условиях, в нормальных государствах все это происходило естественно, без судорог, переворотов в сознании и жизни, без искажения понятий в восприятии действительности, как показало время, для граждан наших, и в немалом количестве, обернувшееся неисправимым моральным уродством. Часть из них так и не решилась расстаться с привитыми им вроде оспы жизненными постулатами, с навязанной идеологией, понятиями чести, совести, принципов, точнее, беспринципности. Хорошо быть малым дитем, весело, беззаботно, и никакого с тебя спросу, за все отвечает дядя, который велел тебе петь и смеяться, "как дети, среди упорной борьбы и труда". Но если ж ты решился в Отечестве нашем жить не по указке ротного старшины, любимой партии и очередного отца и учителя, если задался целью преодолеть в себе не только послушного раба, называемого советским гражданином, изжить прежде всего свое гражданское невежество, робость перед своим начальством, не гнуться послушно перед повседневной и повсеместной ложью и остервенело рвущим живое мясо карательным сословием, ты обязан был подняться над всем этим, нравственно превзойти быдло, претендующее направлять жизнь и ставить тебя по команде смирно. Я знал и знаю людей, которые и в лютых сталинских лагерях были независимы, свободны духом, их не могли подавить самые оголтелые держиморды и садисты, дело кончалось тем, что они заставляли нашу карательную систему пойти на попятную и даже заискивать перед "политическими". Маявшийся в Кучинской политзоне, неподалеку от города Чусового, о котором речь впереди, Василь Стус, замечательный украинский поэт, великий, бесстрашный гражданин земли своей истерзанной, лагерному холую и живодеру говорил: "Ты гестаповец! Ты фашист! Ты вечный жандарм!" – Они, эти воспитатели, добились, домордовали в конце концов человека по фамилии Стус, запрятали его в уральской земле под столбиком № 9. Но они не в силах были убить мятежного гражданина и поэта Василия Стуса – это выше всех их истребительных сил. Были и такие среди "политических", которые на удар плетью, на издевательства и матерщину смиренно говорили: "Господь тебя прости!" И ничто так не бесило лагерное отродье, как это гордое смирение человека, не желающего опуститься до злобного зверя. Надо было преодолевать в себе неуча, надо было не по капельке, а по бисеринке выдавливать из себя привычку к крови, к смерти, приобретенную на войне, следовало из одноклеточного существа превратиться в нормального человека, потом уж откликаться на творческий позыв, существовавший с детства. Я говорил и писал уже не раз, что писателем рождаются, а вот членом Союза писателей становятся, иногда очень быстро, ловко, успешно и хлебно. В самый раз, пожалуй, немножко рассказать о себе. Много писать не требуется, потому как в творчестве моем биография отображена довольно полно и подробно, прежде всего в самой моей "толстой книге" – "Последний поклон". Только не надо воспринимать ее чисто биографической книгой. Как и во всяком сочинении, есть в ней и домысел, и вымысел, авторская фантазия, реальные персонажи сосуществуют иногда с никогда на свете не жившими, возникшими из моего воображения. Я понимаю, что вобью в удручение некоторых моих доверчивых читателей, коих воспитала наша упрощенческая критическая да убогая общественная мысль: коли есть прототип и все "списано с жизни", значит, книжка правдивая и автор – человек хороший, но коли прототипа нет, то шарлатан он, не писатель, и надо у него проверить документы. Но, люди добрые, живи человечество по законам соцреализма и сообразуйся с рецептами его, оно ж никогда бы не получило бессмертных произведений Гомера, "Дон-Кихота", "Путешествий Гулливера", не говоря уже о незабвенном "Бароне Мюнхгаузене", "Шахерезаде", Дантовом "Аде" и бессмертных произведениях совершенно ошеломляющего своим бесовством, несравненного выдумщика, архи-гениального русского сочинителя Гоголя. Родился я, если считать расстояние вверх по Енисею, в восемнадцати верстах от Красноярска, в селе Овсянка, которое чуть постарше самого краевого центра, 1-го мая 1924 года. Прадед мой имел мельницу и огромное безалаберное потомство, среди которого мой папа, Петр Павлович Астафьев, был старшим внуком своего деда Якова Максимовича Мазова – так именовали моего прадеда, который, придя в село, долгое время жил на окраине, в мазанной глиной избушке-полуземлянке, а может, и за то, что примазался к селу. Сам Яков Максимович, по рассказам, слышанным мною от односельчан, якобы явился в Сибирь поводом слепой бабки из Архангельской губернии, Каргопольского уезда. Я и в самом деле видел на архангельской

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru губернской карте хутор под названием Астафьев, ныне исчезнувший, как и все "неперспективное" по Руси, запущенной и горькой. Может быть, прадед мой происходил оттуда? Этого я не знаю, но что фамилия Астафьевых прибыла в Сибирь из Архангельской губернии – подтверждает пятитомное издание "Освоение Арктики". Там есть справка о том, что у одного архангельского купца служил приказчик по фамилии Астафьев, и ходил он с артелью за собором в Сибирь и однажды, будучи на реке Вилюй, решил здесь остаться, повести свое дело и попросил свою долю у хозяина, и тот, судя по всему, не дал, потому как купец Астафьев не только закрепился в Сибири, но повел дело широко, толково. Так что фамилия наша наибольшее распространение получила из глубин Сибири, да и закрепилась на ее необъятных просторах. Глядя на Читинский мемориал погибших в Отечественную войну сибиряков, я насчитал сорок семь однофамильцев. Прадед же мой, Яков Максимович, похоронив бабушку свою, еще юношей пошел по богатым верхнеенисейским селам и нанимался в работники на водяные мельницы. Был он, судя по всему, человеком мозговитым, с архангельской сметкой, пить горькую не обучился, а вот мельничное ремесло перенял. Накопив денег и спрятав их в драную меховую шапку, которую, сказывали, он везде и как попало бросал – чтобы не был заподозрен "капитал" и лихие люди не позарились бы на него, прадед свою первую мельницу построил на речке Бадалык, за Красноярском. Но в связи с вырубкой лесов речка эта сделалась маловодна, летами начала и вовсе пересыхать, смоловщи мешок зерна, мельник накапливал воду, чтобы снова оживить мельничные мощности. В конце концов речку Бадалык и хозяйство на ней прадед оставил и начал искать место для нового строения. Сунулся за Енисей, в село Торгашино – там уже работает мельница, побывал в селе Базаиха – там мельница совсем уж большая и мощная бурно шумит, и люди или сам уж Господь подсказали Якову Максимовичу пешком перевалить горный перевал. Что он и сделал, сразу же оказавшись на берегу дивно-красивой, многоводной, таежной речки Слизневки, которая в ту пору будто бы звалась Селезневкой, но крепко подгулявшие топографы, иль картографы, спьяну название речки переврали, поименовав ее именем, совсем для речки не подходящим, красоту ее унижающим названием. Могучий, самовитый, трудолюбивый от Бога наделенный, прадед мой на своем хребту таскал бревна на мельницу, сам ее рубил, возводил, лелеял на радость селу Овсянка и, как оказалось, на горе себе и своей семье. Был он, как и все мельники, не без причуд, слыл колдуном, пугал собою визгливых девок и малых ребятшек. Жена Кольчи-младшего, моего дяди, Анна Константиновна, до се вспоминает, что, как раздастся вопль: "Мазов идет!" все малое население села с улиц разбегается, забираясь, кто за печь, кто на полати, кто под лавку. А он, поймавши дитя, возьмет да мукой его измажет, иль колючей бородой пошоркает, а когда и по голове погладит, конфетку даст. Господи, неужели такие простодушные времена бывали тут? Неужели на селе страшнее мельника и зверя не водилось? Даже и не верится! Сам же я прадеда Мазова и прабабку Анну не помню, знаю, что прабабка похоронена на Усть-Мане, а прадед в Игарке, куда он угодил в ссылку, когда ему было уже за сотню лет. Могилы обоих в свалке тех лет потеряны и забыты. Сын Якова Максимовича Мазова, человека на селе до сих пор почитаемого, непьющего, мой дед, Павел Яковлевич, дело отца продолжил совсем в другом направлении и виде. Все "недостатки" родителя аннулировал и восполнил их развеселым нравом. Папа мой приумножил разнообразие жизни. Обо всем этом рассказано к моим повестям, рассказах. Что касается открылья родни матери – Потылицыных, то о них я, как ни странно, не знаю почти ничего. Фамилия Потылицыных в Сибири довольно распространенная. Недавно в газете "Красноярский рабочий", заступаясь за своего родича, известного в Красноярске общественного деятеля и бунтаря Александра Потылицына, которого за непокладистый характер и свободомыслие некоммунисты, уподобляя себе, мешают с дерьмом, его родственница, живущая в Ленинграде – Санкт-Петербурге, сообщила, что кто-то из известного рода купцов Гадаловых, к которому принадлежат она и Александр, получил земельный надел в селе Овсянка, так, возможно, какой-то веточкой предки моей мамы прирастают к этому достославному дереву исконных сибиряков. Как бы там ни было, но благодаря мельнику Мазову я угодил в такую местность, что один поэт с Вологодчины, побывавший в моем селе, воскликнул: "Х-хэ, едрена мать! Здесь не хочешь, так все равно писателем станешь!". А великий чернобровый красавец-вождь, большой ценитель прекрасного, будучи гостем Сибири, когда его под ручки подняли на Слизневский утес, обзрев с высоты мои родные окрестности, значительно молвил: "Как у Швейцарии!". Ему, вождю-то, на этом бы возгласе и застопорить речь, остановиться, так нет ведь, заметил, что только вот трудно подниматься на утес, – и хозяева края немедленно велели свалить лес на утесе, сшибить вершину бульдозерами, построить лестницу и смотровую площадку из бетона. Ныне по той лестнице ребята, что поздоровее, едучи из ЗАГСа, таскают в беремени невест наверх, и гости всякие разные озревают Енисей – эту сибирскую "Швейцарию" и даже не подозревают, что всеми эстетическими удобствами они обязаны знаменитому вождю

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru и бывшей местной ухватистой и угодливой партийной верхушке. Село Овсянка ныне не одно. Вокруг него несколько рабочих поселков, тучи дач и дачек. Там, где когда-то петляла к мельнице и на пашни вела едва заметная травянистая дорога, ныне пролегают железная дорога и асфальтированная автострада, проложенная в еще недавно дружественную братскую страну Туву, где нынче стреляют, бьют и режут всех, кто смеет ступить на эту так из первобытной, пещерной стадии развития и не вышедшую землю и тревожить ее коренной, все еще полудикий народ. Выше моего родного села, совсем рядом – знаменитая Красноярская гидростанция, будто бетонный протез всунутая в зев реки. Енисей ниже плотины едва трепыхается, его затянуло тиной, острова на нем сделались полуостровами, шивера открылись, косы заросли дурным чернолесьем, берега заселены случайным людом, леса по горам пожжены, растения от холодных испарений вымирают, горные хребты нещадно обрубаются, овсянские пашни и заимки давно захвачены дачниками, энергетиками, строителями. Ни одного роскошного лесного и горного уголка, ни одной реликтовой полянки, по коим я в детстве бегал босиком, не осталось, все загорожено под сооружения, похожие на собачьи конуры, вокруг которых вскопаны грядки под нехитрую овощь, под картошку. Есть, конечно, сооружения, излаженные под иностранные виллы и под когда-то спаленные возбужденным революционным пролетариатом помещичьи усадьбы, – здесь обретаются престижные современные виллы, у которых обезьянья подражательность и показушная наглость превыше всяких правил и немудрящего разума. Более всего мне жалко, что исчезли и исчезают из наших мест звери, птицы, – уж не услышишь извещающего о начале лета криканья коростеля, не призывает из желтых нив спать перепелка, потому как нет в нашей местности и хлебов-то – их дешевле и легче сделалось доставлять из-за океана; не звенит над пробуждающейся землей жаворонок, почти не стало зяблика, щегла, овсянки, редки чечетка-мухоловка, синица, воробей и тот поредел. Но больше всего мне жаль вырождающиеся, угасающие, задохнувшиеся разливы сибирских цветов. Еще в молодости я называл Сибирь страной цветов. Еще в молодости в чужих краях снилась мне родная земля залитой цветами, да ведь еще и совсем недавно, в детстве, я слышал и запомнил притчу о сибирских цветах. Пользуясь случаем, повторю ее. Будто бы вскоре после сотворения мира, когда Земля уже была заселена людьми, скотами, птицами, засажена деревьями, Создатель задумался и понял, что не хватает этой, славно задуманной планете какого-то очень важного компонента для того, чтоб сделалась она совсем прекрасной, и поскольку Бог нам достался мудрый, то скоро Он и догадался: травы и цветов! И принялся Господь засеивать Землю цветами и травами. Но земной мир сотворялся так долго и работы у Создателя было так много, что Он к этой поре уже притомился и не ходил поверху пешком, а летал на самолете и из мешка горстями разбрасывал семена. Свой рабочий день Господь, как и все трудовое население Земли, им содеянное, начинал в семь-восемь часов утра и работал, в отличие от свободных советских тружеников, дотемна. Но Земля-то очень уж большая, а Сеятель на всех один. Вот, значит, все Америки Он засеял, Европу обработал и за Россию принялся. Летал Он, летал, сеял Он, сеял, поначалу экономно и без спешки бросая семена, вот уж пора приспела и пообедать, а Он еще и до Уральского хребта не добрался, и семян в мешке все еще много. Начал Создатель нервничать, торопиться и маленько подхалтуривать, тем более, что архангелы – спецы по сельскому хозяйству и радетели растениеводства, Ему подсказали, мол, под Вами пространства простираются, где со временем будут обретаться передовые советские трудящиеся – ба-альшие это будут халтурщики и лентяи, так, может, и греха-то никакого не будет, коли им некоторый исторический пример подать в перспективе, так сказать. Господь своих советников уважал и над Уралом сеял уже как попало, там так поныне и растет: где густо, где пусто, точнее уже пусто – повытоптали, повызгли, повырубали посеянное Богом добро неблагодарные чада Его. За Уралом Бог заметно притомился – наступил уже конец нормальной даже для российских трудящихся рабочей смены. А края Земли все нет и нет. Сквозь пальцы устало трусил Господь семена меж березовых колков и перелесков. Вот иросло тут, в Западной-то Сибири, травы море, а цветочков-то реденько: ромашка-поповничек, люпин, ну и первоцвет весенний, а вот глубеники и костяники – возом не перевозишь! Тем временем самолет летел, летел, и совсем уж за вечерело, и все трудовые люди спали на Земле, птицы петь перестали, скоты траву сонно жевали, у Создателя глаза начали слипаться, в зевоту Его сонную потянуло. И тогда Он рассердился, загремел на все небо: "Мне сверхурочные не платят!" и бухнул все семя, какое в мешке осталось, вниз. И подхватило то семя ветром, и разнесло по всей Сибири, по Байкалу, по Забайкалью, аж до самого моря-океана донесло, и здесь, по берегам его, да и по всей Сибири такое ли сияние Божьего цвета с весны началось, так ли радостно осветилась Земля-матушка! "Не жаль мне, не жаль мне распотпанной царской короны, но жаль мне, но жаль мне разрушенных белых церквей!.." – восплакал в одном из своих лучших стихотворений поэт Николай Рубцов. А мне вот ни в храме, ни возле храма столь не больно, как

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru на природе, дитю ее кровному, мне жалко цветы, жалко деревья, пташек, зверушек, – всю бессловесную Божью тварь жалко – она-то, она-то, Господом нам в помощь и на содержание наше созданная, за что страдает, почему мучается и сказать не может, и наплевать нам в глаза не способна, отплачивать, правда, начинает. Жесток и беспощаден будет ее приговор нам, разорителям, насильникам, грабителям. Все люди нашей планеты – есть дети Земли и, надо прямо сказать, дети неблагодарные, порой уже думается, что эта прекрасная планета предназначалась для совсем другого, более разумного и благодарного существа. Родной наш дом изранен, болен, необхожен, небо над ним загрязнено, порвано, большинство рек и морей превращены в сточные канавы, в зловонные, опасные бассейны. Человеку уже не хватает питьевой воды и кислорода. Лысеет Земля потому, что повсеместно срубаются леса и часто на ту самую бумагу, на которой мы многословно и в общем-то бесполезно защищаем природу-мать. Земля, рожающая нам хлеб, плоды и топливо, истощается повсеместно, и ее истощение восполняется добавками химического свойства, опасными для самой Земли и для здоровья людей, питающихся урожаями, на ней произрастающими. Человечество подошло к опасной черте самоуничтожения и не всегда и не везде осознает это. Увлечение политическими страстями, грандиозными проектами, сказками о прогрессе, который спасет мир и нас с вами, – это очень опасные заблуждения, отвлекающие людей от главных сегодняшних забот, потому что если население Земли не примет срочных мер для ее лечения и спасения, не понадобятся ни самые передовые реформы, ни декларации, ни умные решения, да и сам прогресс, дымящие и смердящие трубы его, большей частью работающие на войну и разрушительные машины, – остановятся и угаснут вместе с нами. Где граница вмешательства человека в природу? Где та черта, за которой находится жизненное равновесие, определяющий предел перед гибельной пропастью? Большинство из нас этого не знает, а редкие тревожные голоса, нас предупреждающие и вразумляющие, тонут в политической трескотне, во всеобщем гаме людском, в грохоте гудков и моторов. Россия – огромная страна, и беды ее огромны. Но больная Европа, по которой текут реки, превращенные в помойки, – Сена, По, Шпрее, Эльба, и другие земли с мертвой водой, отравленной почвой, мутным небом, загрязненным воздухом, взывают к нам: спасите нас и себя спасете! На эту вот болезненную тему я начал писать по-существу сразу, как попала мне под хвост литературная вожа, не оставляю сию тему и поныне, хотя и понял всю тщетность посредством слова образумить людей и остановить разорение земли. Первый же свой рассказ я написал в 1951 году, в уральском городе Чусовом, куда приехал на жительство в 1945 году, после демобилизации из армии. Жена моя родом чусовлянка и тоже была на войне. Познакомились мы с ней в нестроевой части, куда я был направлен после госпиталя. Несколько лет я был рабочим на разных предприятиях, даже в горячий цех вагонного депо залез – чтобы побольше зарабатывать, так как жилось нам очень трудно и скудно. Делать тяжелую работу, да еще в горячем цехе, мне было противопоказано, но кто же с этим тогда считался?! К тому же я одновременно учился в школе рабочей молодежи, переутомился, изнурился и заболел. Меня тут же выбросили из горячего цеха, сердобольные врачи рекомендовали идти на легкую работу. Но город-то, Чусовой-то, состоит из тяжелой индустрии, здесь металл плавят, и никакой легкой работы мне никто не припас. Чтобы не умерить себя и семейство с голоду, я подрабатывал на разгрузке вагонов и, разгружая все подряд, в том числе и мясные туши, угодил работать на местный колбасный заводик разнорабочим, мыл и подавал мясо на столы обвальщиц. Обвальщики мяса – это те люди, которые отделяют мясо от костей и сухожилий. Кто-то ушел в отпуск или заболел, или заворовался и угодил в тюрьму, – меня из цеха перевели в вахтеры. Наконец-то я угодил на легкую работу. Несмотря на все жестокие будни и превратности жизни – бесквартирье, бесхлебье, нищенское существование, я никогда не переставал читать и, узнавши, что при местной газете "Чусовской рабочий" начинает действовать литературный кружок, пошел на первое же занятие. На этом занятии литкружка читал рассказ бывший работник политотдела наших достославных лагерей. Рассказ назывался "Встреча". В нем встречали летчика после победы, и так встречали, что хоть бери и перескакивай из жизни в этот рассказ. Никто врать его, конечно, и в ту пору не заставлял. Но человек так привык ко лжи, что жить без нее не мог. Вот и сочинительствовал. Страшно я разозлился, зазвенело в моей контуженной голове, и сперва я решил больше на это сборище под названием "литературный кружок" не ходить, потому как уже устал от повседневной лжи, обмана и вероломства. Но ночью, поуспокоившись в маленькой, теплой вахтерской комнатке, я подумал, что есть один единственный способ борьбы с кривдой – это правда, да вот бороться было нечем. Ручка, чернила есть для борьбы, а бумаги нету. Тогда я решил почти на подсудную крайность: открыл довольно затрепаный и засаленный журнал дежурств, едва заполненный наполовину, и поставил на чистой странице любимое мною до сих пор слово: "Рассказ". Я написал его за ночь и, вырвав плотные

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru страницы из корочек, на следующем занятии кружка, то есть через неделю, прочел рассказ вслух. Рассказ был воспринят положительно, и его решили печатать в газете "Чусовской рабочий" как можно скорее. Поразобрав каракули, нанесенные на бумаге полуграмотным, да к тому же и контуженным человеком, маленько его подредактировав, – "Чего там редактировать? Там же сплошная правда!" – я еще вернусь к этой самой "правде", потолкую о ней и о понимании ее в нашем любезном отечестве – рассказ начали печатать. А пока, забегаю вперед, скажу, что однажды безмерно мною любимый, совсем недавно умерший, новеллист Юрий Нагибин, с которым мы состояли членами редколлегии в ту пору в очень хорошем журнале "Наш современник", – уверял меня на полном серьезе, что писателями мы сделались исключительно по причине фронтовой контузии. "Понимаешь, – говорил он, – отыскал я пару своих рассказов, напечатанных в журнале „Огонек“ еще до войны, – ну ни проблеска там, ни бисериночки. А вот вдарило по голове, что-то в ней оборвалось, повернулось ли – и открылся талант! А иначе откуда бы ему взялся? У меня отец, мать и вся родня во многих коленах совершенно далеко от этих самых сочинительств..." О-о, послушать нашего брата, да на встречах с дорогими читателями, да позаписать бы все, нами сказанное-высказанное – было бы еще похлеще "Барона Мюнхгаузена"! Да, а рассказ-то с продолжением печатают в "Чусовском рабочем"! Фамилия моя сверху, ниже – название, мною собственноручно написанное, "Гражданский человек". Я гоголем по обвальному цеху хожу, хотя с резинового фартука сукровица течет, порезанные костями руки кровоточат, солью и селитрой их разъедает так, что от боли штаны у меня мокрые, но я пою на весь завод: "Хороша страна Болгария, а Россия лучше всех!" И бабы-тудяги мне дружно подтягивают. Бабы – обвальщицы, шпиговщицы, кишечницы и копильщицы – все, все знают, что я получу много денег, куплю себе новую шапку, костюм, может, и на штиблеты сойдется, что выйду я в богатые и с ними, с бабами, ревматизмом от постоянного мокра искореженными, от мясного изобилия впадающими в лютость, тут же переходящую в сентиментальность и плаксивость, здороваться перестану и узнавать их не захочу. Вдруг обвал, трагедия, полный срыв коммерческих и творческих планов рассказ мой на середине печатанья остановили по причине его полного безнравственного содержания. А, башки мои! Что же это за зверь такой – безнравственность-то! Сама заведующая отделом агитации и пропаганды Чусовского горкома, запротестовавшая против рассказа и свращения чусовских трудящихся посредством печатного партийного органа, приехала от заезжего прощельги-лектора ребеночка – и ничего, трудится, мораль направляет. В соседнем с нею кабинете долго руководил городом и районом зараженный сифилисом начальник по фамилии Ставров, валил на свой идейный стол девчонок и баб, начиная от секретуток и кончая уборщицами, с почестями препровожденный на пенсию, с искривленными заразой костями, желтый, хромой, полуразложившийся, бродил по городу, талдычил, что повредил позвоночник на войне. Какой же чудовищной силы и мощи фугас я запустил, что пошатнул здоровую мораль передового советского сообщества?! Мне тут же любезно, отечески и объяснили какой: наша любимая партия всегда нас воспитывала любезно, отечески, коли не воспитываешься, – в железы тебя, в руды лагерные, тем более и везти-то недалеко, значит, и ненакладно, всего несколько остановок, – город со всех сторон обложен каторжными лагерями, воспитательными заведениями всех мастей и разрядов с длинными номерами, знаками и значками и непонятными грифами. Рассказ "Гражданский человек", которым я решил напрочь смести всякую ложь с советской земли, совершенно бесхитростен, открыт, прямолинеен и даже патриотичен, в чем легко убедиться, найдя его в первом же томе под названием "Сибиряк". Он и сейчас-то, после капитальной переработки и доработки опытной рукой, – не ахти что, а тогда был и вовсе наивненький, блекленький, но в нем было и притягательное свойство – я все списывал с "натуры", в том числе и главного героя – моего сотоварища по фронту. Все-все: имя, фамилия, название фронтовых и тыловых деревень, количество детей и т. д. – все было точно, доподлинно, все должно было противостоят вселенской неправде. Лишь в одном месте дал я маху – перепутал название деревни главного героя, поименовав ее Каменушкой. Тогда как она оказалась шумихой, и детей перепутал – было у моего героя их трое, я написал – двое парней и девочка, а оказалось наоборот. Но этот мах был вовсе не роковым махом, мах я допустил в том месте, где решил пошутить вместе с героем насчет нашего сословия, да и выломал нечаянно дверь с надписью: "Советская мораль – самая лучшая в мире мораль". Словом, из рассказа сокопники узнают про главного героя, что был он лучшим трактористом в колхозе, такой неразворотливый, скромный, незаметный – и лучший! Как же это может быть? Как видите, все в лучших традициях соцреализма шло до одного рокового места. Оч-чень это интересное явление – "лучшая в мире мораль". Многие софлитераторы, еще не умея писать, уже владели лукавыми приемами соцреализма и могли, как утят, – только-только вылупившись из яйца, хорошо плавать. Как читающий человек, владел ими уже и я, а тут возьми мой герой и брякни: "Мало

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru сейчас нашего брата, стало быть, мужиков, в деревне осталось, вот и стали мы все для баб хороши". "Ка-ак?! – возмутились поборники нравственной чистоты в Чусовском горкоме, – наших, советских женщин называть бабами? Делаются, к тому же, грязные намеки на их неразборчивую похотливость, тогда как они у нас..." Ну, а дальше вы все знаете, как это бывало и бывает еще, какие слова говорятся и оргвыводы делаются. Редактор газеты, Григорий Иванович Пепеляев, отнес все это громовержье в область юмора, да и народ наш, опять же народ, передовой, советский, самый замороченный, но сознательный, давай звонить, писать в редакцию и даже приходить и спрашивать – отчего рассказ молодого автора не печатается, в "верха" жаловаться народ грозился. Может, насчет "верхов" и народа Григорий Иванович и приврал, стараясь приободрить молодую творческую поросль, – в ту пору гибкость редактору и чутье требовались отчаянные, чтобы уцелеть на должности и газету вести на приличном уровне. И печатанье художественного произведения в местной прессе тогда было редкостью. Редактор, сделав вид, что общественность-таки его добавила, рассказ печатать закончил. Пока этот сыр-бор шел да разгорался, одна малосильная работница газеты ушла в декретный отпуск, оттуда угодила на "комсомольскую линию", меня пригласили на ее место, тут я узнал, что весь двухполосный номер газеты имеет гонорар аж семьдесят рублей, по новому курсу – семь, и мне не только на костюм и на шапку, даже на портянки вознаграждения за рассказ не хватит. Но не бывает дыма без огня, как и огня без дыма, – слух о скандальном рассказе докатился аж до областного города Молотова (ныне это снова Пермь), достиг отделения Союза писателей и оттуда поступила просьба: выслать газеты с рассказом и как можно скорее. Не успел я обсесться в "Чусовском рабочем", проморгаться как следует, бац! – мой рассказ появляется в областной газете "Звезда", правда, в сокращенном виде. Я еще и дух не перевел, эйфорию не перечувствовал, как рассказ уже полностью звучит по областному радио, играют-читают в нем артисты, да еще и под музыку, под симфоническую. И когда пришло письмо – извещение о том, что рассказ будет напечатан в альманахе "Прикамье", – во мне уже никаких сил не осталось, один лишь восторг чувств бушевал во мне и с этим восторгом я накачал несколько рассказов подряд. Но мой творческий порыв был охлажден в той же редакции газеты "Чусовской рабочий", на занятиях того же боевого литкружка, – исчезли из моей творческой продукции вульгарные и грубые слова, вроде "баб", все персонажи у меня говорили изысканно, поступали правильно, главное – идейно и выдержанно. А так как я еще от фронта не отошел и имел грамотешку в шесть групп, в Игарке еще с трудом законченных, то сами понимаете, как эта самая "изысканность" выглядела в моем исполнении. Что-то меня образумило, задержало в "творческом развитии", скорей всего беспросветная нужда и газетная поденщина, и где-то и как-то я и сам усек: мне сейчас надо больше не писать и печататься, а "поработать над собой", потом уж и сочинять продолжать. Вот на этом пока мой юмор и кончается. Начинается серьезный рассказ о серьезных вещах, о становлении литератора в провинции, в беспросветной от тупости российской жизни, тогда еще и в надсаженной военным временем России, вовсе оглохшей от голода, горя, незаживших еще ран, но начинающей трудно пробуждаться, переходить на мирные рельсы, привыкать к нормальному человеческому существованию. Было бы чрезвычайно интересно услышать и прочесть об истории создания областных отделений Союза писателей в России и национальных республиках. Собственно, этого и ждали писатели, собравшиеся на последний съезд Союза писателей СССР и на один из предпоследних, еще руководимых литвождем Бондаревым, съездов писателей РСФСР, которые проходили как полупьяные колхозные собрания пятидесятих годов, превращаясь в ор, в бестолковую митинговщину, где не творческие дела, а политиканствующая литговорильня захлестывала нехитрый творческий разум, занятый, в основном, выяснением: "кто за кого?" и еще "вопросами консолидации", которая, опять же по рецептам соцреализма, создавалась и помогала многим и многим членам Союза писателей, прежде всего в республиках, безбедно существовать и "княжить у себя дома", издавая толстые тома в Москве, на русском языке, и жить по-княжески за счет труда переводчиков. Называя на Кавказе, в Молдавии, в Коми аэсэсэре, в Марийской и Татарской республиках русских людей – поработителями, оккупантами, давителями всего истинно национального, творцы этих и других республик, так и не научившиеся творить, которых дома-то и не читают, а только изучают в вузах, как классиков-родоначальников, вдруг завопили, захлопали, как и в прежние годы, дружно скандируя: "Братья! Братья! Братья навек!" демонстрируя политиканство и кавказско-азиатское лукавство – просто большинство этих поседевших и облысевших классиков без старших братьев обречены на творческое вымирание, ибо корова, под названием Россия, больше не станет доиться, но они, не научившись писать, так ловко умели выкраивать свои произведения по портняжным лекалам пресловутого соцреализма, который изжил себя и вместе с ним изжились порожденные им творческие структуры, загасли пламенные светочи коллективного творческого

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru

разума, придя к своему закономерному, логическому завершению. Надо начинать жить по законам и правилам мирового сообщества, а не Союза писателей на улице Воровского, творить самостоятельно и кормиться в одиночку, как это было всегда и есть во всем мире, от этого никуда не уйдешь, ибо коллективный-то разум "кипеть возмущенно" готов, но сотворить ничего путного, кроме стадного сборища дармоедов и краснобаев, не способен. Надо начинать жить самостоятельно, творить по законам Божиим и полагаться только на себя. Ну, если б при этом было придумано какое-то сообщество писателей, объединяющее их, помогающее облегчить их быт и существование, – кто бы против этого возражал? Но для этого и об этом надо было думать, а не устраивать свалку в сенях творческих Союзов, сыгравших в свое время несомненно полезную роль в собирании, учено говоря, консолидации творческих сил и объединении их в действующую, товарищескую артель, называемую областным отделением Союза писателей СССР. С этой стороны интересна история создания Молотовской писательской организации, в которой я рос, мужал и которая сделала много не только для моего творческого рождения и роста. В далекой игарской школе был преподаватель русского языка и литературы Игнатий Дмитриевич Рождественский, которому выпало сыграть заметную роль в моем раннем творческом детстве. Игарка, отрезанная в те поры от мира, была тем не менее охвачена творческим зудом. Из-за длинной зимы, из-за морозов, загонявших ребятишек под крышу, все вынуждены были чем-нибудь заниматься. Это сейчас детки не знают, куда себя девать и что делать, смотрят телевизор, видики, прыгают на дискотеках до преклонного возраста. А тогда с одной стороны, учили нас классовой непримиримости, жертвенности во имя передовых идей, с другой стороны, – выжившие ссыльно-поселенцы из кожи лезли, чтобы обучить детей грамоте, ремеслу, профессии, все делали для того, чтобы дети не повторили их судьбу, – "Уж коли наша жизнь загублена, так хоть вы живите...". Родом москвич, из интеллигентного педагогического сословия, истинный патриот и глашатай своего времени, после окончания иркутского педтехникума Рождественский работал сперва в туруханской, затем в игарской школах. На этом славном пути он повстречал такую же прирожденную преподавательницу и воспитательницу младшего поколения Евгению Моисеевну, и в Заполярье, нуждающемся в здоровых, знающих свое дело кадрах, молодые супруги Рождественские прилились к месту и к стати. Я отбывал уже третий год в пятом классе, мне уже твердо пророчили дорогу в исправительно-трудовую колонию, я уже и привык к мысли, что сего идейного, массово-воспитательного заведения мне но миновать. А сидел я третий год в пятом классе из-за математики, которая мне не давалась просто так, без труда, я ж привык к "просто так", как налетчик, – на хапок, брать знания, – и по литературе, истории, географии, ботанике, поскольку она про цветочки, да по русскому языку получал отличные оценки, по всем остальным предметам – очень плохие, словом, шел по науке безо всякой середины. Мне каждый год назначали переэкзаменовку по математике на осень, и каждый год я не изволил на нее являться. Переэкзаменовки для вольно живущего – неволя, они для тупиц, я же начинал сочинять стишки и сказки для детдомовских ребятишек, потому как к этой поре обретался в игарском детдоме-интернате, и когда в Заполярье морозы запечатывали всякую жизнь, по избам, баракам и другим помещениям, ребятишки собирали постели, одежонку, сдвигали койки в комнате девчонок, поскольку она была самая большая, – и в бесконечной ночи, под сполохи волшебных позарей я собирал в кучу прочитанное из книг, увиденное в кино и в театре, все это воссоединял вместе со своими выдумками, – угревшиеся ребятишки мирно засыпали под мои всегда благополучно и красиво заканчивающиеся истории. Игнатий Дмитриевич и директор интерната Василий Иванович Соколов оказали на мою раннюю жизнь и формирование характера решающее влияние. Василий Иванович присутствует в качестве персонажа под именем Валериана Ивановича Репнина в повести "Кража", и поэтому на его особе я долго задерживаться не буду, скажу лишь, что он упорно искал во мне еще не вытопанную зеленую полянку и нашел ее – увлечение книгами, много разговаривал со мной о прочитанном. Дворянин из потомственной древней семьи, высокообразованный человек из колчаковской армии, он, чуть играя в поддавки, давал мне "фору", прикидываясь, что удивлен моим "всезнанием" и памятью, но постепенно развеивал туман в моей удалой башке и мою самоуверенность. Подлинная простота, доступность, истинная интеллигентность да еще душевная доброта вперемежку с вечной уже грустью и памятью от только что пережитого крушения России, и моем восприятии, уравновешивали порывистый, неистовый энтузиазм начинающего поэта, певца пятилеток и сияния небывалой новой жизни Игнатия Рождественского, который вел уроки так увлекательно в нарушение всех правил и методик, что мы частенько "работали" без перемен, случалось, и звонка на перемену не слышали. Более всего он поощрял то, что советская школа со дня своего существования изгоняла из своих зданий и рядов – самостоятельность мышления, чтобы собственный опыт, какой он ни есть, собственные знания давали ответ, чтоб учащийся думал, а не занимался пересказом. Советская школа

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru добилась-таки своего: заела, засушила школу и уроки правильностью, зашоренностью, полным отсутствием собственной мысли. И вот результат: дети не хотят учиться, сопротивляются, как могут, педагогической мудрости, спущенной сверху, из министерств, из областных и краевых методических кабинетов. Теперь в школах рады бы хоть как-то заинтересовать школьников, но сами-то учителя уже поражены рутинной нашей педагогической наукой, как современные врачи без анализов и обследований и иначе, как по методикам, всевозможным указаниям, не могут работать – не полагается. Из школы исчез дух творчества – это самая главная и трудно поправимая потеря. Начался новый учебный год, в который я продолжил сидение в пятом классе. Игнатий Дмитриевич влетел в класс загорелый, хорошо "на магистрали" отдохнувший, сотворивший за лето еще одного, уже третьего, ребенка, а всего он сослепу натворил их своей многотерпеливой жене пять штук, в новой рубашке с галстуком, с кучерявым смоляным чубом, култыхающимся на ходу, швырнул журнал на стол, сказал дежурному по классу, чтоб отметил потом кого нет на занятиях, и велел всем достать тетради и написать сочинение на тему: кто как провел лето? И запыхтел пятый "Б", выжимая из себя творческую мысль. А сам учитель уткнулся в бумагу носом, что-то писал, черкал, бормотал, вскакивал со стула и, тыча рукой в такт шагам, ходил по классу. "Тоже сочиняет", – догадались мы, благоговейно притихнув. Игнатий Дмитриевич обладал феноменальной памятью, как и мой, ныне покойный, друг, критик Александр Николаевич Макаров, – знал, кажется, всю поэзию наизусть. И вот особенность какая забавная: все стихи Игнатий Дмитриевич читал по памяти, но свои – по бумаге! Он издал в Москве и в Сибири множество сборников стихов и очерков, Александр же Николаевич в зрелом возрасте писал только критические статьи, о своих поэтических и прозаических увлечениях вспоминал безо всякой охоты, всегда с насмешливой иронией. Увы, оздоровляющей самоиронии моему любимому учителю и старшему другу так и не хватило, да и внутреннего самоконтроля, может, и культуры отбора тоже, – многое из его поэзии в силу ее "злободневности", да что там скрывать, и губительной энтузиазмной трескучести пролетело по горячему воздуху времени и сгорело в нем. Ныне эстафету деда подхватил внук Антон, но этот пишет и поет уже совершенно другое и по-другому. Дай-то Бог горячему, но бурным потоком времени унесенному в небытие таланту продолжаться во внуке лучшим его звуком, восторженным сердцем. Однако ж ненадолго вернемся в пятый "Б". Летом я заблудился в заполярной тайге между станками Карасино и Полоем. Весной (1992 года) я пролетал на вертолете над теми местами, где блуждал, и убедился, что мои прежние утверждения, будто я вел себя в тайге умело и стойко, потому и спасся, – самонадеянны и ничего не стоят. В этой тайге самому спастись, да еще будучи мальчишкой, – невозможно, только Господь Бог может тут спасти, что он, Милосердный, не раз и делал в моей жизни. Как бы там ни было, я поблуждал по страшному Заполярью и уцелел, и свое сочинение так бесхитростно, прямолинейно и назвал: "Жив". Никогда я еще не старался, не работал с такой любовью, как в тот раз. И вот снова урок литературы. Игнатий Дмитриевич раздает тетради с сочинениями, кого бранит, кого похваливает. Тетрадей на столе все меньше, меньше, вот голубеет и последняя, – "Моя!" – екнуло и замерло сердце в моей, уже много страдавшей груди. Учитель бережно взял тетрадь, развернул ее и начал читать мое сочинение вслух. Затем поднял сочинителя с места, долго, подслеповато всматривался в него и сказал: "Молодец!" – первая, пока и единственная похвала, полученная в школе, которую, впрочем, учитель скоро охладил, попеняв мне, что я, как последний лоботряс, болтаюсь в одном классе третий год. Он и Василий Иванович, все время напиравший на меня насчет моих "природных способностей", – довершили дело. Я перебрался в шестой класс и окончил его за одну зиму. Но далее учиться мне не довелось, мой детдомовский возраст кончился, я должен был начинать самостоятельную жизнь, кормить и одевать сам себя, думать о дальнейшей судьбе. Я поступил на кирпичный завод коновозчиком и подвозил с лесозавода отходы к топкам, чтобы заработать денег на паромный билет, выехать на магистраль и попробовать там поступить в какое-либо училище, что в конце концов и осуществил, с трудом устроившись в Красноярскую железнодорожную школу ФЗО № 1, которая спешно создавалась на станции Енисей. И вот, не иначе как "по воле рока", в город Чусовой мне пришла телеграмма за подписью секретаря Молотовского отделения Союза писателей К. Рождественской! "Уж не родня ли моему школьному учителю?!" – подумал я. Нет, не родня, однофамилица оказалась моя новая благодетельница и наставница. Человек тоже одержимый, литературе безмерно преданный, в пределах своего времени довольно хорошо образованный, Клавдия Васильевна была ростика невеликого, курила табак, говорила бархатным басом, почти не пила хмельного, поднимала дочь и нас, молодую писательскую поросль, что стоило ей утраты здоровья и преждевременной могилы. Совсем еще недавно Пермская писательская организация была довольно многочисленной, солидной за счет эвакуированных из центров писателей. Иные из них при начале войны находились на югах, в санаториях и домах творчества, и вот,

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru бросив на произвол судьбы любимые столицы, иные – и семьи в них, сложными, кружными путями творческие люди достигли Урала и сосредоточились здесь для беспощадной борьбы с врагом, писали все, что им закажут за хлебные карточки и кой-какое денежное содержание. Наибольшего успеха в Перми достигла многодетная Вера Панова, написав по заказу две повести: "Спутники" и "Кружилиха", произведения, на мой взгляд, сотворенные по бесхитростной схеме посредственной прозы, но поскольку в них были положительные комиссары, любовные драмы и переживания, а также самоотверженный трудовой энтузиазм и соцсоревнование, то автора сразу залауреатили, понесли в президиумы, в писательское начальство. Сама писательница, видимо, посчитала сей благотворительный путь исчерпанным и после войны начала писать совершенно "по-другому", то есть как Бог, а не партийные власти, велели, за что не раз подвергалась критике и даже в партийное постановление какое-то журяще-воспитательное угодила, но на железнодорожную линию, к своим милым, самоотверженным спутникам и спутницам более не возвращалась. Достославный город Молотов после войны творчески ослабел и почти опустел. Клавдия Васильевна Рождественская работала той порой редактором в Свердловском книжном издательстве, но в силу своего созидательного характера и редакторской самовитости все более и более расходилась с идейной линией творческой интеллигенции Свердловска и издательской сообщностью, все заметнее и заметнее огружающие в ласкающие волны лакированной продукции, да так до сих пор из тех гремящих хлебных волн, по-моему, и не вышедших. Предложение занять пост ответственного секретаря Молотовской писательской организации последовало в самый раз. Рождественская собрала свой небогатый скарб, упаковала довольно обширную библиотеку, взяла дочь на руки и за одну ночь преодолела по железной дороге расстояние меж двумя, вечно к чему-нибудь ревнующими друг друга провинциальными гигантами, и с ходу включилась в работу, как скоро выяснилось, довольно трудоемкую, но благодарную и благодатную тем, что партийные власти какое-то время не мешали новому секретарю работать, не назидали ее, лишь подгоняли с творческими результатами, чтобы "утереть нос этим задавалам, что за Уральским хребтом". Но там, за каменным поясом, был Бажов, романисты Маркова, Попова, фронтовики Очеретин, Стариков, Резник, Макшанихин, Хазанович, молодые, но громко о себе заявившие Рябинин, Долинская, лауреат госпремии Ликстанов, поэты Купштурм, Мурзиди, драматург Салынский и другие там "могучий творческий кулак!", гремящий на весь почти Союз. Здесь, в Прикамье, – полторы калеки, ждущие материальных благодеяний за свои прошлые творческие подвиги. Практическим своим умом и редакторским нюхом уловив, что с творческими кадрами, имеющимися в наличии, треклятый этот, забугорный город Свердловск, беззастенчиво именующий себя столицей Урала, городу Перми не обогнать, Рождественская начала истово поднимать творческую целину, взращивать молодую талантливую поросль. И довольно преуспела в этом благородном деле, возобновила выпуск альманаха "Прикамье", началось издание детского сборника "Нашим ребятам", очнулось от медвежьей спячки Молотовское книжное издательство и, взявши книжным знаком старый, дореволюционный герб Перми, на котором медведь и есть главное действующее лицо, начало оно обсуждать, совместно с Союзом писателей дорабатывать, толкать и проталкивать книги начинающих авторов. Косяки поэтов и романистов объявились в Прикамье, ходили грудь нараспашку, проводили творческие семинары, учили и учились писать. В особенности приветствовался и поощрялся в ту пору по всей воспрянувшей от войны Руси великой и ее национальным окраинам писатель из народа, от станка и сохи, который попашет, напишет да и выпьет с устатку крепко – для вдохновения и творческого порыва. Я, еще не почувствовавший себя журналистом, потому как проработал в газете без году неделя, охотно принял на себя облик и поведение даровитого и даже самобытного таланта "из народа", даже и погордиться успел, что вот академиев не кончал, но творю, понимаешь ли, делаю русскую литературу наравне со всеми, может, даже и лучше всех. В первый мой приезд в столицу Прикамья посидели мы и изрядно потрудились с Клавдией Васильевной над моим первым рассказом и, поскольку терпеть она не могла альковных историй и смертей в художественных произведениях, а у меня герой погибал в конце рассказа (он и на самом деле погиб на войне), то мы с опытным редактором так ловко отредактировали произведение, что герой мой остался как бы между жизнью и смертью, от альковных же сцен меня Бог миловал, и рассказ отправился в альманахе "Прикамье" в автономное, так сказать, плавание. В Молотов с собой я привез еще несколько новых рассказов и, посмотрев их, Рождественская отобрала два или три – для следующего номера альманаха, меня же свела в издательство, познакомила с директором, с главным редактором и сказала, что, если я поработаю, то на следующий год у меня наберется рассказов уже на небольшой сборник и надо его издавать, потому как автор весьма перспективный. Везучий я человек! Везучий! После первой же поездки в областной центр, после первой же встречи с секретарем отделения и издателями я вез с собой первый

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru издательский договор на книгу и даже немножко деньжонок, полученных в качестве гонорара за рассказ, печатаемый в альманахе. Нужно ли говорить, как горячо, можно сказать, неистово взялся я за работу и как трудно двигалось у меня дело. Браться писать сборники рассказов не должен и опытный автор – сборник, он на то и Сборник, чтоб накапливать его годами, иногда и десятилетиями, но откуда мне было это знать?! Я штурмовал первую книжку и отбивал тяжелую поденщину в газете, да еще и избушку строил в эту же пору, потому что жить сделалось совсем негде. Спал я тогда не более четырех-пяти часов в сутки и не мог себе позволить отоспаться даже в выходной день, потому как, кроме писания, строительства, занимался еще и охотой и, чтобы совсем не уморить семью голодом, стрелял рябчиков в окрестных лесах – большой зверь и более умная проворная птица мне не давалась, так как после фронта я вынужден был стрелять с левого плеча и вообще с детства был приучен "беречь припас" и стрелять за три метра с подбегом. Как бы там ни было, с обруганиями, проволочками, с помощью более опытных писателей сборничек мой в четыре листа объемом, в убогом оформлении, под названием "До будущей весны" вышел в 1953 году, и самое любопытное было то, что ехать редактировать его меня угораздило в день смерти Сталина. Выход первой книги для меня, загнанного жизнью и нуждой и самый что ни на есть темный угол, был не просто праздником, это было важнейшее творческое событие в моей жизни и в жизни семьи тоже. Как и следовало того ожидать, дальше писательские мои дела пошли неважнецки. Ничего у меня не получалось. Я писал рассказ за рассказом и сам видел, что они вымученные, неживые, подражательные, причем не лучшим, а худшим образцам, потому как по худшим-то образцам писать легче, да еще и права при этом качать: "у меня не хуже..." Я полагаю, что главный движитель творчества, тайна его и путеводная звезда – это подсознание человека, и не иначе как это подсознание натолкнуло меня на мысль: попробовать писать рассказы для детей. И тут у меня дело пошло ходче и интересней, хотя рассказы, в большинстве своем, опять же не выбивались за городьбу областной, полутрафаретной литературы. Но в детских рассказах было много таежной сибирской экзотики, и это их облагораживало, делало привлекательными для маленького читателя. Среди тех рассказов и написалось "Васюткино озеро", которое переиздается до сего времени, переводятся на другие языки, его включают в школьные учебники, читают по радио. Я поставил его заглавным, и очень скоро в областном издательстве был напечатан сборник "Огоньки". "Васюткино озеро" еще и отдельной книжкой было издано, что меня поддержало материально и морально настолько, что я осмелился послать сборник в Москву, в "детгиз", где он встретил благожелательное отношение и после серьезной редакторской работы вышел большим тиражом под названием "Теплый дождь". Тогда же редакторы "детгиза", я и друзья мои начали штурмовать журнал "Пионер". Образовалась обширная, теоретически довольно богатая переписка. Но штурм сего журнала так и не увенчался успехом, зато потом я попал с рассказами в "Мурзилку", чем и горжусь до сих пор. Надо заметить, что покорение столицы и ее издательств не было у меня стремительным и успешным, как это кажется некоторым моим "знатокам" и доброжелателям. Начавши печататься в журнале "Смена" с полурассказами, блеклыми очерками, я не снискал себе славы в молодежной прессе. В толстый журнал "Знамя" попал с рассказом благодаря помощи Юрия Нагибина через десять лет после начала "творческой деятельности"; в "Новый мир" – через семнадцать лет; в "Роман-газету" – лет через двадцать, да и то благодаря тому, что хитромудрое массовое издание это износилось, огрузнело в мутные воды секретарской литературы" до такой степени, что "Роман-газету" перестали выписывать. И вот мудрое вышло решение: разбавлять "классику" нашим братом, "подающим надежды", хотя многие из нас уже успели поседеть от тех "надежд". Более всего в свое время мне хотелось напечататься в журнале "Огонек", служившем тогда эталоном современной новеллистики. Но и здесь мне удачи не было – я получал в город Чусовой коротенькие отлупы на "огоньковских" бланках, иногда странные нравоучительные наставления. Однажды пришло письмо не только мне домой, но и в Молотовскую писательскую организацию с советом: хорошо бы попристальней поинтересоваться автором рассказа "Солдат и мать" – очень все там подозрительно и "наш ли это человек сотворил?.." Я же чувствовал, что это пока единственный рассказ "из взрослых", который похож на стоящее литературное произведение, и послал его на имя Сергея Петровича Антонова в "Новый мир", рассказчику в ту пору ведущему да к тому же члену редколлегии журнала. Как оказалось, рассказ Антонову пришелся по душе, он начал готовить его для журнала, но в это время произошла смена главных редакторов, а значит, и членов редколлегии. Сергей Петрович вернул мне рассказ с грустным письмом и советом – не оставлять это дело просто так, адресоваться с рассказом в какой-нибудь солидный журнал. И я послал рассказ на имя другого, не менее авторитетного рассказчика, и не зря говорится, что чудак чудака видит издалика, контуженный контуженного, к тому же и чуёт – таким вот, значит, путем я и оказался в

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru
"Знамени", благодаря помощи Юрия Нагибина. Между тем, шла и даже бурлила творческая жизнь в Прикамье, все новые и новые имена восходили на ясный литературный небосклон. Романисты, опережая один другого, печатали толстые тома и, почувствовав себя уже заряженным на дерзкие труды, подготовленным к одолению крутых творческих высот, подумал я однажды, в совсем неподходящую минуту, когда луна, должно быть, находилась на ущербе: "А не написать ли мне роман? Люди ж вон пишут, кирпичами прилавки заваливают, а я что, хуже их что ли?.." Мне и замыслом мучаться не надо было – только что вышло первое, самое историческое постановление ЦК и Совета Министров о налаживании дел в нашем сельском хозяйстве. От сельского хозяйства я был далек, деревню оставил еще в детстве, в газете "вел" лес и транспорт, но картошку в поле сажал, в деревнях бывал. Романисты уральские вон, не выдавши рабочего человека в глаза, пишут себе про ударный труд советских трудящихся, про борьбу за сталь и чугун. У одного чусовского романиста эксплуататоры-французы, сшибая шапку с непокорной русской головы, кричат даже: "Руссиш швайне!" Словом, литературная безалаберность, безграмотность и дерзкая бозответственность подвигли меня к созданию более полновесного, нежели рассказ, широкого полотна, тем более, что за толстые книги у нас всегда получали толстые деньги и, чего там греха таить, надеялся и я тоже с помощью актуально-злободневного романа поправить свои материальные дела. Хватил я горя с этим романом, сполна поплатился за свою самонадеянность! Но многому меня роман и научил. Прежде всего тому, что, коли какое дело не умеешь делать, так и не берись, употребляй дерзость и нахрапистость в другом месте, на другом поле, на футбольном, к примеру. А литература – это нечто другое, чем игра в мяч, хотя и в футболе иногда употребляются слова "творческая выдумка". Не я один тогда "творил", не зная не только законов сложения слова, но и вовсе грамоты не имея, не только литературной грамоты, вообще никакой. Сколько жизненных драм, сколько трагедий за этим упрощенным пониманием вседоступности литературного ремесла крылось и кроется. Ведь и поныне у нас каждый второй пенсионер пишет стихи иль опровержения в газеты, извещает письменно меня иль редакции, что вот, наконец-то, он вышел на пенсию и может спокойно заняться литературным трудом... О, Боже, Боже! До чего порой убог и бесхитроsten бывает русский разум! Дует человек газетные заметки нескладными стихами и не понимает, что он захламляет не только родное слово, всякую разумную человеческую мысль, но оскорбляет и память великих стихотворцев своего великого Отечества: Пушкина, Лермонтова, Есенина, Блока, Твардовского. Что ему до них! Он сам, сейчас вот, от благодушия, дремучего невежества и наличия свободного времени "упился словом", и несет его графоманская волна вдохновения восторгу навстречу. Еще до работы над романом я положил себе за правило: еженедельно, а если время позволит, и чаще посещать городскую библиотеку им. Пушкина и там в читальном зале просматривать все новые журналы, и тонкие, и толстые, что-то прочитывать здесь же, экземпляры с наиболее пространными статьями и прозой брать домой. В "Огоньке" я читал все новые рассказы, и в "Новом мире", и в "Знамени", и тогда же установление себе сделал: начинать читать журнал "с заду", т. е. с публицистических и критических публикаций, был в курсе текущей литературы и не очень-то многообразной критической мысли. Тогда-то, наверное, от переедания современной критической продукции мне захотелось прочесть кого-нибудь из прежних мыслителей, и я отчего-то выбрал себе для знакомства Дмитрия Писарева. Надолго стал Писарев моим критическим кумиром, властителем моих дум, даже его скандальная статья о Пушкине привела меня в восторг – вот, оказывается, как можно читать и воспринимать даже самое неоспоримое, даже гениев воспринимать на свой лад, не раболепствуя перед ними, раболепия-то и сам Пушкин не терпел. С одной стороны, умнейший, предрезкий мыслитель, сокрушитель всяческих авторитетов, в том числе и европейских, с другой, что ни журнал, что ни статья о совлитературе – сплошное пресмыкание, сплошные аллилуйя иль хула, в зависимости от того, о ком пишет автор, а не о чем он пишет. Надо самому во всем этом разобраться, самому учиться все обмысливать. Пятидесятые годы. О-о-о-ох, боюсь, что не все, очень даже немногие представляют себе, на каком уровне общественного развития мы находились и в какую литературу вступали молодые сочинители. Мягко и деликатно называемая лакировка действительности царил повседневно и повсеместно. И не вся беда была в том, что цензура, хитромудро называемая то литом, то комитетом по охране государственных тайн, давила со всех сторон, поглядывала за каждым печатным словом, за каждой пустяковой бумажкой, дело дошло до того, что "литовались" даже пригласительные билеты, газетенки того времени уж такие ли правильные, такие ли верноподданические, лояльные, читались вдоль и поперек, без подписи цензора не могли быть запущены в печатный станок. Самое страшное, что цензор, плотно заселивший советские ведомства, культуру, вузы, школы, армию и даже тюрьмы, проникнул в кровь человеческую, заселялся в плоть и в сердце существа, находящегося еще в эмбриональном состоянии. Литератор, журналист, режиссер,

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru художник, еще не начав творить, уже твердо знал, как надо творить, и таких ли матерых, изворотливых приспособленцев плодила наша дорогая действительность во всех сферах жизнедеятельности, но прежде всего в области литературы и искусства, что уже и талант был вещью необязательной, порой даже и обременительной, вредной. Уже бытовали приговоры типа: "Слишком много знает и понимает", "Ишь, самородок сыскался!", слова: правда, любовь, родина, патриотизм и т. д. были искажены и препарированы в кабинетах социалистических идеологов, что лягушки в подвале, называемом лабораторией, выпотрошенные до такой степени, что от них оставалась лишь серенькая сморщенная кожа. Как свирепствовали в то время партийные идеологи и верноподданные приспособленцы "из народа", на людных сборищах громя статью В. Померанцева в "Новом мире" – "Об искренности в литературе". С радостью и захлебом уверяла себя не только провинциальная, но и столичная общественность, что никакая искренность нам не нужна, она вредна нашей передовой морали и нравственности, и вообще слова: искренность, правда, порядочность, совесть, честность – имеют совсем иной смысл и значение у нас, нежели в дореволюционном прошлом или в буржуазном, все более разлагающемся и в судорогах идейных противоречий кончающемся мире. Именно в пятидесятые годы, под шумок и со свалом на то, что мы восстанавливаем разрушенное войной хозяйство, никто и ничто не должно и не смеет мешать, были сметены, загажены, разобраны на конюшни, на свинарники, на мощение дорог и площадей, с висящими на них вожжами, непреклонно указывающими путь в светлое будущее, остатки храмов и монастырей с русской земли. Годы спустя, в 70-е, при Ельцине, совсем близко, за Уральским хребтом, будет сотворен еще один тяжкий национальный грех – тайно, воровски, в одну ночь разобран Ипатьевский дом, в котором были замучены царь с царицей и их светлые дети. Я знаю об этом, но не хочу подпевать модному нынче хору, все наши беды сваливающему на Ельцина. В такой обстановке, при таком идейном климате клепалась моя первая толстая книга, дерзко названная романом. Писалась она мучительно, со скрипом, выходила с проволочками, мне в ту пору непонятной мышинной возней, пятнадцатитысячным тиражом вместо обещанных тридцати, зато с вербочкой на обложке, которую я сам и придумал, а художник по моей горячей просьбе нарисовал. Начались обсуждения книги в писательских и читательских кругах, появились благожелательные рецензии не только на периферии, одна или две и в столице, но они уже не имели того губительного воздействия на меня, каковое подкосило целые поросли молодых создателей скороспелых романов и повестей, навсегда закрепив их в звании местного областного писателя, льстиво именуемого, допустим, "певцом Прикамья", а то и аж всего "могучего индустриального уральского края". Что, что, а плодить и губить, безответственно хваля угодливого творца, чуть его подкармливая сладким (горькое он и сам наловчился раздобывать), – у нас умели и умеют так, как нигде в мире. Через несколько лет мне было предложено Пермским издательством повторить издание романа "Тают снега". Я почистил текст, что-то в нем поправил, но понял, что черного кобеля не отмыть добела, и, когда мне предложили издать книгу в третий раз, уже в Москве, – категорически отказался, понимая, что мне уже проще написать новую книгу, нежели "довести до ума" это, прежде времени рожденное дитя. С годами мне даже удалось подзабыть о прозаическом грехе творческой молодости, я вежливо обходил упоминание романа в библиографии своей, в разных анкетах и бумагах, но лучший-то в мире, советский-то читатель нет-нет да и напомним о моем творении. Не далее, как годов шесть назад, на Шукшинских чтениях в Сростках, сию я под палящим алтайским солнцем на свежестроганом помосте, выводит читательница, начинает меня хвалить, как почетного гостя, и в числе мною сотворенных произведений называет роман "Тают снега". Томящийся рядом со мной бородатый критик В. Курбатов ширь меня в бок: "Во! – говорит, классика не забывается!.." – Едва я сдержался, чтоб не стукнуть его кулаком по лбу... А последний автограф на этой книге я поставил осенью 1955-го одна абаканская журналистка аж в больницу ко мне прорвалась с этой книгой. Вот и иронизируй после этого насчет нашего "лучшего" читателя! Надо заметить, что критик Курбатов является другом нашего дома, потому что происходит он все из того же города Чусового, родился и крестился где-то в другом месте, вроде бы в Ульяновске, но рос и вырос в уральском месте, долгое время зная меня не хотел и признавать меня литератором не желал на Урале, теперь вот пишет предисловия к моим книгам. Человек блистательно образованный, глубоко порядочный и умный, он символизирует собой истину: не место красит человека, даже все наоборот, и в городе Чусовом выросши, ежели Бог тебе ума дал и ты "над собой неустанно работал и работаешь", – не завалешься под провинциальной творческой скамейкой, хотя, конечно же, многие знания умножают скорбь, и в наше время, да и во все времена дураку жить было легче. Всего же город Чусовой дал миру десяток членов Союза писателей и, сообразуясь с этим феноменальным явлением, я пришел к твердому убеждению, что советский писатель охотней и лучше всего заводится в дыму, саже, копоту. Два любопытнейших факта по поводу романа "Тают снега" мне

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru еще хочется поведать, да и "пройти" эту тему. Среди многих читательских конференций и обсуждений случилась у меня одна в Пермском пригородном поселке Нижняя Курья (город Молотов превратился к этой поре снова в Пермь). Завбиблиотекой меня никогда не видела, я ее тоже. По телефону я ей назвал свои внешние приметы, сказал, во что буду одет. Сошел я с электрички, стою и вижу: по перрону мечется довольно симпатичная девушка и хватает за рукава тех, кто в шляпе, при галстукe, особенно если с бабочкой и тростью, да в дорогом, к тому же, пальто. И когда на перроне осталось нас всего двое, девушка разочарованно произнесла: "Это вы-ы-ы?!" С тех пор я перестал удивляться чему-либо, связанному с литературой, как и читателям нашим. "Шли годы. Бурь порыв мятежный рассеял прежние мечты, И я забыл твой голос нежный, твои небесные черты..." Ах, Пушкин, Пушкин, Александр Сергеевич! Чудо ты наше из чудес, солнышко вечное! Читали бы тебя люди, наслаждались тобою постоянно, глядишь, и умнее, и нежнее были бы. А то вот является свету романист из военного пепла и чусовской сажи, да и отнимает у тебя читателя! Так и ладно бы, хоть отнимал без последствий для морали и для себя лично. Так нет, глупая дерзость-то всегда наказуема – и поделом! И поделом! Нет, не умирает "классика". Вот какой документ, какая весточка достала меня в родном селе Овсянка летом 1992 года. Вместе со стихами старика-пенсионера пришла газета из города Гремячинска Пермской области под названием "Шахтер" от 18 февраля 1992 года, а в той газетке черным по белому написано: "КГБ против Астафьева". "Ну и ну! – подумал я, ерзя на стуле, – КГБ против Мандельштама, Клюева, Васильева Павла, Заболоцкого, Ручьева, Смелякова, Шаламова Варлама, Домбровского и Солженицына – это, понятно, фигуры! Понатворили товарищи на свою голову многовато, а я-то чего наделал?!". Оказывается, ранний мой, почти девственный литературный грех всему причиной, все те же "Тают снега", чтоб им пусто было – никак они не растают!... Вот она, заметка из гремячинской газетки, целиком. Если "классика" не забывается, то и маразм нашего бытия, идиотизм его не должны забываться, как бы этого ни хотелось направиителям и заправиителям прошлой жизни. "БЕЛЫЕ ПЯТНА ИСТОРИИ ГЛАЗАМИ ОЧЕВИДЦА" "Один из признаков тоталитарного государства – вездесущая система слежки за инакомыслящими. Сейчас, когда в Германии открылся доступ к секретным документам и досье МГБ ГДР, оказалось, что метастазы доносительства пронизали все общество, вплоть до семьи. Средства массовой информации сообщили о случае, когда жена регулярно доносила на своего мужа. Подобная же система контроля за политически неблагонадежными действовала в бывшем КГБ СССР. Особенно же рьяно эта служба следила за людьми творческого труда. Об одной такой истории, происшедшей в 1957 году, рассказал А. И. Белоусов, работавший до выхода на пенсию в нашей газете. Сначала немного об авторе. Александр Иванович родом из Щучье-Озерского, ныне Октябрьского района Пермской области. С 14 лет в военные годы работал пахарем в колхозе, затем окончил железнодорожное училище и работал помощником машиниста паровоза. В 1951 году поступил в школу машинистов электровозов, но со второго курса ушел в армию. Служил в авиации техником по обслуживанию реактивных самолетов в Венгрии, Австрии, Албании, Болгарии и Чехословакии. Вернувшись со службы, в 1956 году окончил школу машинистов электровозов и начал работать на станции Чусовская. Водил поезда до Соликамска и Кушвы. Тогда и пригласили его в городскую газету „Чусовской рабочий?. Шел 1957 год. Первые шаги в журналистике оказались нелегкими, но удачными. А. И. Белоусов принял литературное объединение при газете и каждую субботу выпускал „Литературную страницу?. К большому неудовольствию секретарей горкома КПСС, не желавших видеть в городской газете „литературщины?. (Позже, в 60-е годы, в Перми были изданы три книги А. И. Белоусова). Работа в литобъединении свела Александра Ивановича с Виктором Петровичем Астафьевым, ныне известным писателем. В те годы Астафьев жил в Чусовом. Рассказывает А. И. Белоусов: – Астафьев родом из Сибири, а в Чусовой приехал вместе с женой, с которой познакомился на фронте. Маша была чусовлянка. В 1957 году жили они в избушке у остановки „3-й километр?. Виктор бывал у меня не раз, а когда и к себе затягивал. В то время он не работал в „Чусовском рабочем?, а сидел на вольных хлебах. Уже вышла его книга „До будущей весны? и был написан роман „Тают снега?. Вокруг этого романа, который должно было выпустить Пермское издательство, и разыгралась летом 1957 года нечистоплотная игра. Все книги накануне издания тогда проходили через сито КГБ. Гэбистам области почему-то показалось, что роман В. Астафьева „Тают снега? проникнут кулацким духом. (Семья Астафьевых в 30-е годы была раскулачена и выслана в Заполярье. Виктору было тогда семь лет). По этой причине уже набранной книге не давали ходу. ...Как-то раз, после рабочего дня мы разыгрывали шахматную партию с товарищем. В ту пору руководители (еще сталинская выучка) задерживались на работе до ночи, а с ними и подчиненные. Вдруг меня вызывает редактор Г. И. Пепеляев и сообщает, что я немедленно должен прибыть к уполномоченному КГБ по городу Чусовому. Надо сказать, тогда уполномоченный КГБ был „фигурой?, считался

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru хозяином города. Вел себя очень самоуверенно и нахраписто. Захожу и кабинет уполномоченного. Он был один. Ночь. Горит неяркая настольная лампа. На столе – сигнальный экземпляр романа В. Астафьева „Тают снега“. Я сразу понял, о чем пойдет речь. – Ну что, пахнет эта книжка кулацким духом? – напрямую и строго спросил хозяин кабинета. – Да нет вроде бы. – А подоплека-то, чувствуете, какая? Время шло и разговор наш вилял, кривлял, пока совсем не зашел в тупик. Похоже, уполномоченный и сам толком не знал, что спрашивать. – Вот ны часто встречаетесь, о чем говорите-то? – Не припомню. – Ах, какая плохая память у вас! Раздосадованный уполномоченный положил передо мной лист бумаги и заставил написать, с какого времени я знаком с Астафьевым и что в нем мне не нравится. Ну, я написал: знаю, мол, Астафьева недавно, мне не нравится, что он выражается в присутствии женщин. Коротенький получился донос: несколько строчек. Прочитав это, уполномоченный бросил зло: „Не этого я от вас ждал? – и спрятал листок в сейф. На следующий день утром я случайно встретил Виктора и выложил ему все. А вечером шел с работы домой и увидел, что приближается навстречу человек в черном плаще, в темных очках (все атрибуты, как в кино!). Это был уполномоченный КГБ. – Пошли, – говорит, – со мной. Привел он меня к проходной металлургического завода, где помещается отдел кадров. Начальник отдела кадров почтительно встал и оставил нас вдвоем. – Что же ты сразу после нашей беседы побежал и рассказал Астафьеву? – раскричался он, как только мы остались одни. – Не побежал, а просто встретил, да и рассказал. Тут он дал волю своим эмоциям и выругал меня, пожалев, что не успел взять подписку о неразглашении нашего разговора. Я, конечно, немного робел перед уполномоченным. КГБ тогда здорово боялись – сколько судеб сломали ретивые сотрудники этих органов! Но к тому моменту за моими плечами была уже рабочая школа и служба в авиадивизии знаменитого Покрышкина.. То, чего они не могли добиться от меня, сделал, как выяснилось, спустя несколько месяцев местный писатель. Возможно, из зависти к Астафьеву, а, может быть, не выдержал нажима уполномоченного КГБ. Однажды Виктор встретил его на улице и сказал в лицо все, что думает о нем. После того случая они, увидев друг друга, расходились по разным сторонам улицы. Выход романа „Тают снега? задерживался. Семья Астафьевых жила в нищете. Маша работала в детском саду и получала гроши. С четырьмя малолетними детьми перебывались с хлеба на воду. Как-то Виктор пришел в редакцию на заседание партбюро (сам он беспартийный) и взмолился: „Что же вы, коммунисты! Помогите же!? Партбюро решило, что вмешиваться в такую историю не надо, но Астафьеву дали дружеский совет. Книгу задержало местное отделение КГБ, но в Москве могут поступить по-иному. Дали Виктору сопроводительное письмо. В Москве ему сказали, чего, мол, там у вас мудрят, ничего крамольного в книге нет. И дали роману зеленый свет. Книга вышла, но уменьшенным тиражом, поэтому Виктор получил гонорар вдвое меньше, чем ожидал, и смог лишь покрыть долги, а на жизнь почти ничего не осталось. Согласился поработать собкором областного радио, хотя это было для него большой обузой, отрывало от творческой работы – он тогда писал одну из своих ранних повестей – „Стародуб?. Вскоре дела его стали поправляться. Астафьевы уехали в Пермь, а затем в Вологду. И наша связь прервалась“. Записала Н. Кашафутдинова. Несколько уточнений по заметке: детей у нас было не четверо, а трое двое своих и племянник жены, сирота, жена моя, Мария Семеновна, никогда не работала в детском садике, по образованию она химик, закончила в свое время единственное ближайшее учебное заведение – Лысьвенский химический техникум и до ухода на войну работала лаборантом на Чусовском металлургическом заводе, затем, после окончания курсов медсестер, куда поступила в начале войны, была призвана для работы в эвакогоспитале и оттуда на фронт. После заключения нашего семейного союза работала в местной промышленности. В момент создания и выхода моего романа служила корреспондентом на Чусовском радио. Семья Астафьевых, деда и прадеда, сибирская. Ссылать ее в Сибирь не понадобилось, так загнали ее в Заполярье – строить порт Игарку. Роман "Тают снега", насколько мне известно, напечатан без консультаций с Москвою. И еще: я никогда, ни в какое партбюро за помощью не обращался и вообще всю жизнь старался не докучать кормилице-партии своими просьбами и жалобами. Мне хватило одного-единственного раза, чтобы понять, что всякие просьбы и тем более мольбы к любимой партии бесполезны, ибо она лишь делала видимость работы, но сама по себе ничего не значила и кроме всеобщего вреда людям ничего не приносила – ее природа и назначение – борьба, вечная борьба со всем и со всеми, неизвестно зачем, к чему и за что – самая эта бессмысленная и самая опасная для всего человечества организация. – В Колумбии я услышал такую характеристику коммуниста: "Идиотас инутилас", что переводится, как "человек ни к чему не пригодный", "человек никому не нужный". Я трудился в артели "Металлист" слесарем, совмещая эту работу с должностью кладовщика. Слесарь я был никакой, кладовщик – и того хуже: имущество из кладовой у меня тащили все, кому не лень, но поскольку ценного там почти ничего не было, то и сходило все с рук. А слесарить – настраивать гвоздильные станки, точить,

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru

нарезать, крутить мне помогали добрые люди, которых в ту пору на Руси было гораздо больше, чем теперь. Когда у нас родилась дочка, мы жили во флигеле, подпертом со всех сторон, жена ходила в шинели и застудила грудь, получился мастит, после операции молока не стало. Мы выходили из положения с молоком так: я помогал тестю на сенокосе и плавил на плотках по реке Вильве с ним сено, за это нам давали молоко. Но требовался и сахар, его по карточкам выдавали мало и редко, прикупали сладкое на рынке. Иногда удавалось купить кусок сахара, затасканный в кармане, но чаще – самодельные конфеты. Молоко от них делалось то розовым, то голубым – какого цвета были конфеты, а сладости от них почти не происходило. Те своедельные конфеты – "соломка", которые я приобрел однажды, были и на вид подозрительные, дочка поначалу охотно принимала цветное молоко, но скоро заболела диспепсией. Рвота и понос день ото дня усиливались, жену с дочкой положили в больницу. Был конец августа, врач на обходе настойчиво напоминал, что нужно сдать карточку, иначе придется больных выписывать. А на работе вместо Марии Семеновны был временно принят другой человек, устроившийся в контору ради карточки. Осталась одна моя рабочая карточка на хлеб, сделалось совсем тяжело и голодно. Вот тогда-то, в обеденный перерыв, прямо в мазутной одежде отправился я в исполком, нашел дверь секретаря горкома. Полный неистовства, полный звона в контуженной голове я ворвался к секретарю и спросил: "Вот двое добровольцев, недавних фронтовиков, отдавших родине молодость и здоровье, заслужили у этой самой родины кусок хлеба?" Секретарь озадаченно посмотрел на меня, пригласил сесть, попросил успокоиться и стал расспрашивать, кто я, что я и почему свалился на его голову? Потом он долго звонил куда-то, просил, требовал, приказывал даже, но карточки нам все равно не дали, а второго сентября дочка умерла. Вот с тех пор я и заказал себе не докучать более просьбами родной партии и советской власти тоже. А тогда мне говорили, ладно, мол, не посадили... Поэтому я назову фамилию того секретаря с благодарностью, хотя бы за то, что не сгубил он меня, прыткого русского дурака, – Серебров его фамилия. И еще один путный человек походил в чусовских партийных секретарях Хохолков Владимир Михайлович, родом с Вологодчины, после окончания электротехнического института начавший работать в Чусовском электродепо сменным мастером. Совмещая должность неосвобожденного секретаря комсомольской организации депо, он как-то стремительно пошел вверх, не особо вроде и стремясь к этому. Много, очень много сделал Владимир Михайлович для города Чусового, затем был взят в совнархоз, затем в какой-то отдел ЦК, надорвал там не богатырское свое здоровье среди сановных бездельников, да и умер, войдя лишь в середину мужицкой жизни. В остальном городское начальство в Чусовом было – шушера на шушере. Партия, выбывая из своих рядов все умное и честное, закономерно дошла до таких верховных ничтожеств, как Брежнев, Черненко, Подгорный, – имя им – легион. Так что же говорить о провинции, о глухой? Здесь вывелся и был селекционирован самый чванливый, самый отвратительный тип партийного чиновника. До Хохолкова секретарем Чусовского горкома был человек, работавший в школе преподавателем физкультуры. Моя будущая супруга, в отличие от мужа, детей ее и внуков, учившаяся хорошо, почитала и почитает всех своих преподавателей, многие из которых и к ней относились и относятся почитательно, до сих пор пишут письма. Она раскланивалась с бывшим учителем физкультуры, и он отвечал на ее приветствия до тех пор, пока не вознесся на чусовской партийный трон. Тут, нарядившись в каракули, стал он разъезжать по колдобинам города в черной "Волге" и не только мою малорослую партийную жену перестал замечать, но вообще здороваться стал по выбору, голову носить гордо, себя – бережно. Ну и свалило его в раннюю могилу той силой, которая превышает всякой гордыни, тем более наглой, партийной. Здоровье мое совсем пошатнулось и я решил бросить... – Вот, кстати, вспомнилась английская шутка: "Один человек так много читал о вреде алкоголя, что решил бросить... читать". А я вместо того, чтобы перестать мучить бумагу и оставить в покое роман, решил бросить кормильца и поильца своего – "Чусовской рабочий", подверг себя так называемой "ранней профессионализации", которая ой сколько по необъятной Руси мучила да и домучила даровитых ребят. В те же годы маявшийся бесхлебицей и неприкаянностью в городе Горьком даровитый поэт Александр Люкин, зарезанный ножом на трамвайной остановке или в подъезде за то, что вступился за девушку, поэтически точно выразил в стихах, названных "Начало пути", мое тогдашнее положение: Жизнь моя была нестроена – сто забот и сто разных тревог, И безденежьем беспокоена до того, что уснуть не мог. По ночам меня думы маяли, прилипала беда к беде. За стихи меня только хаяли – не печатали их нигде. Видно, были они корявые, мыслям, что ли моим сродни, Посылал их в Москву за славою, возвращались с позором они. Я и боль, и тоску испытывал, горем срезанный наповал. И твердила жена сердитая: – лучше б валенки подшивал. Не умел я валенки подшивать, это делал мой тесть, пусть и кустарно, не очень красиво, зато добротно. Да и жена в ту пору была не очень сердитая, зато терпеливая, и, чтобы не dokonать ее, детей, чтоб нянька не сбежала от

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru бесхлебья, подался я в собкоры областного радио по горнозаводскому направлению Пермской области. На радио я стал хорошо зарабатывать, купил пишущую машинку, на гонорар же от романа, точнее, с доплатой из гонорара, обменяли мы избушку на большую избу, кое-что приобрели из одежки. Но среди всеобщей лжи, пустопорожней брехни, патриотического выкаблучиванья первенство тогда неоспоримо принадлежало советскому радио, даже в газетке, где "осквернял родное слово и отучивал людей от доброты", как впоследствии написал я в одной из своих "затесей", работа выглядела все же поприличней. Скоро я устал от халтуры и, пока совсем еще не утратил к себе последнего уважения, с хлебного места ушел. Дела мои литературные постепенно налаживались. К этой поре я написал первую свою повесть "Перевал" и был безоговорочно принят в Союз писателей, с чем меня первым поздравил телеграммой мой бывший школьный учитель Игнатий Дмитриевич Рождественский, работавший разъездным корреспондентом от газеты "Правда" и оказавшийся в ту историческую минуту в Москве. Так вот совпало: я поставил первый автограф на первой книге своему учителю, – он первым поздравил меня со вступлением в Союз писателей, а то уж в Чусовом меня начали преследовать, как тунейдца, нигде не работающего, ни топором, ни пилой, ни лопатой, все остальное здесь трудом не считалось. В своих радиопутешествиях по горнозаводскому направлению не раз я бывал в свите тогдашнего секретаря Пермского обкома Струева. Он здорово играл под своего любимого вождя Никиту Хрущева, за что и был назначен министром торговли нерушимого Союза, окончательно ту торговлю развалил, ибо ничего более, как кривляться, играть под вождя, не умел, но был беззастенчиво лжив, за что и получил почетную правительственную пенсию и сейчас, наверное, живя где-нибудь на подмосковской даче, ругает демократов и тоскует о славном прошлом, когда вел вместе с Хрущевым счастливый народ к коммунизму... Русь, сколь бы ее ни превращали большевики в империю зла, стояла и держалась добрыми людьми. Тот же, чумазый, в саже и дыму стоящий городишко Чусовой, соседний с ним город Лысьва, да и весь Урал горемычный – что бы они были без трудолюбивых, все переносящих людей, из которых и взаправду гвозди делали, в бараний рог гнули, судили, садили, давили, чтоб окончательно превратить в подъяремный скот, в мычащую тягловую массу, пронумерованную комиссарами и помещенную под охрану в казенную стайку иль конюшню. Да, много благодетели сделали, выполняя учение по неслыханному эксперименту над народом, который "не жалко", много и он зла сделал свету и породил бесчеловечности, сам дойдя до неслыханного остервенения, но своим примером, своим тяжким путем он спас весь остальной мир, указав, что дорога, которой он следовал семьдесят с лишним лет – гибельна, навязанный России путь – тупиков. Но, "Господи! Зачем ты избрал для этого жестокого примера наш народ?" – воскликнул однажды в беседе со мною один из несломленных советскими тюрьмами, образованнейший человек, совесть и честь нашего времени. Я мог бы называть и называть людей, не давших погибнуть и моей семье в послевоенные годы, серьезно и бескорыстно занимавшихся тем, чтобы поставить меня на твердые гражданские ноги, научить обращаться со словом, не пропить, не продать по дешевке Божьего дара и совести, без которых в наше бесстыдное время жить будешь, но творить едва ли, разве что в угоду заказчику, а это равносильно смерти. Я почти пятьдесят лет занимаюсь литературным трудом и так или иначе сумел рассказать о многих людях, способствовавших моему становлению, поддерживавших в трудные дни, часто невыносимо-тяжкие. Пусть и не все они, как говорят наши штатные ораторы, задействованы в моих произведениях, но так или иначе помянуты благодарным словом все те, кто смог помочь мне устоять на ногах, не разменяться на медные пятаки, которым звенела наша щедрая на подачки и посулы родная власть, наш направитель, цензор и вдохновитель, – все та же благодетельница – коммунистическая партия, сама себя именовавшая умом, честью и совестью эпохи. Как же мы оглохли, как ослепли, как притерпелись к болтовне и безответственности, слушая, читая эти пустопорожные слова, часто и повторяя их вместе с руководящей камарильей. Творчество – это не только ненормированный, но зачастую и непредсказуемый труд, в нем случаются не только срывы, провалы и досадные недоразумения, да и обыкновенные пропуски, забывчивость. Случайно встреченные, порой ничего, кроме досады и неприязни, не вызывающие люди непременно и "подвернутся под руку", а те, кого ты хотел бы поблагодарить, отметить словом, – откатятся на задворки памяти и не сразу оттуда возникнут. Почти нигде не помянул я благодарным словом редактора газеты "Чусовской рабочий" Григория Ивановича Пепеляева, немало усилий приложившего, чтобы я прижился на "чистой работе", овладел азами журналистики, поскорее преодолел бы безграмотность и непрофессиональность. Я знаю, как много на земле, особенно на уральской, бродит или уже ковыляет тех, кто "сделал из меня писателя", по слабости характера, всего себя "отдавши другим", и только из-за неимения времени или охоты сами писателями не стали, недосуг было. Журналистикой, пусть и ранней, убогой, повторяю, помог мне овладеть Григорий Иванович, однако, в качестве

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru писателя иметь меня было ему ни к чему – газете нужен работник, ломовая лошадь, но не свободолобивый творец. Когда дело дошло до того, чтобы идти мне на "вольные хлеба", Пепеляев не мешал этому, надеюсь, искренно пожелал успехов и, надеюсь, так же искренно радовался им, когда таковые сошли на меня. Но много было в ту пору и тех, кто злобствовал и скрежетал зубами, что я "с суконным рылом" решил забраться в "калашный ряд". Помню, как корреспондент "Правды" по Пермской области вельможено отчитывал меня за мои творческие поползновения, говоря, что он и не чета мне, но в писатели не лезет, предпочитает быть путным журналистом. Представительный вид, умение "подать себя" привели к тому, что местное руководство сделало его редактором областной газеты "Звезда", которую до него возглавлял замечательнейший человек Борис Никандрович Назаровский. Воспитанный, культурный и мужественный, он мог возражать "верхам", и самолюбивое партийное руководство области вынуждено было считаться с его мнением. Борис Никандрович к этой поре уже истратил здоровье и начальство надсадил своей неуступчивостью, его определили на должность главного редактора областного книжного издательства, в газету же всучили покладистого характером человека, который, если по Крылову: "Хотя немножко и дерет, зато уж в рот хмельного не берет". Быстро он довел "Звезду" до "уровня", ее перестали читать и выписывать, и тому же руководству области пришлось сановитого мужика сгонять на почетную пенсию. Зато нашему брату, молодым литсилам, повезло: в издательстве царила "мама Римская", то есть директорствовала Людмила Сергеевна Римская, изворотливая, толк в хозяйствовании и людях знавшая, литературу и литераторов, особенно молодых, любившая не менее, чем своих родных детей. В пристяжке – ироничный, тонко воспитанный меломан, эстет, пронизательный человек и читатель – Борис Никандрович. Не всякого якова он подпускал к себе, не всякому оказывал доверие и, тем более, наделял дружеским расположением. Я удостоился всего этого, хотя поначалу с трибун посрамлял начальника своего, называл душителем талантов, сатрапом и деспотом, и еще как-то уничижительно-обличающе. Старик имел ко мне большое отеческое снисхождение, помог найти и купить избушку в деревне Быковка; в речке Быковке водился хариус, я его ударно ловил и там же, в деревушке, начал ударно писать. У Бориса Никандровича неподалеку, в поселке под названием "Винный завод", на берегу Камского водохранилища была дачка, переделанная из баньки. У него здесь пивали водку и закусывали дарами природы литературные знаменитости и друзья молодости: Аркадий Гайдар, Василий Каменский, Савватий Гинц, художник Широков и многие другие. Как я, бывало, появлюсь на "Винном заводе", Назаровский, усмехаясь, скажет: "Виктор Петрович, позвал бы сатрапа-то на ушку". Я и звал, потому как Быковка располагалась в двух верстах от "Винного завода". Мы подолгу с ним беседовали и незаметно, без демонстрации обидного превосходства Борис Никандрович образовывал мой читательский, музыкальный и прочий вкус. Он первый мне сказал, прочитав мои "уральские" рассказы и, естественно, роман, чтоб я не насиловал свой дар, не приспособлял его к "неродной стороне", пел бы свою родимую Сибирь и сибиряков. Долго живший и работавший в Омске редактором областной газеты, он смог помочь студенту местного сельхозинститута, начинающему прозаику Сергею Залыгину. Затем вот и мне. Назаровский, да и я тоже, шибко были огорчены, когда пришлось нам расставаться, переезжать с Урала, всю мне душу истерзавшего. Но связь наша не прерывалась до самой смерти Бориса Никандровича. Когда я написал и опубликовал повесть "Пастух и пастушка", Борис Никандрович первым откликнулся большим, отеческим письмом, сказавши в нем, что вот он, слава Богу, и дождался, что я начал реализовывать себя на том уровне, какой мне определил Господь. А когда я появился в Перми, сказал, что "Пастушка" моя уже написана в музыке и подарил мне пластинку с пятой симфонией Шостаковича, которую я, увы, никогда не слышал, потому как это произведение раньше почти не исполнялось, да и поныне исполняется редко. Клавдия Васильевна Рождественская и сменивший ее на посту секретаря Пермского отделения Союза писателей Владимир Александрович Черненко к концу пятидесятих годов оконтурили кружок местных талантов, как это делают геологи перед тем, как начать эксплуатацию месторождения нефти, руды, угля и прочих полезных ископаемых. Развевая толпу графоманов и говорунов-теоретиков, самими же ими вскормленных и выпестованных, которые обретаются везде в изобилии, а около "легкой и престижно-модной работы" – литературы и искусства тем более, начальство наше сбило невеликую кучку местных "талантов и подающих надежды" молодых людей, большинство из которых подает их доньне или так усердно наподавалось, что залегло в ранние могилы либо путешествует туда-обратно меж заведениями, лечущими от дури и алкоголизма – самое это распространенное, чудовищное явление: не научившись писать, напечатав очерк в альманахе, издав книжку-другую, иногда лишь подборку стихов тиснув в газете, почувствовав себя в творческом угаре, в "своем кругу", ребята обалдевали от ощущения своей гениальности и начинали беспробудно пить горькую. Видимо, губительные примеры старших заразительны. У меня есть довоенная хрестоматия для

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru высших учебных заведений, купленная на рынке. В ней помещено тридцать шесть российских авторов той самой "блистательной провинции", по словам Валентина Курбатова, "которая сделала бы честь любому европейскому государству". В ту "провинцию" угодили Короленко, Мамин-Сибиряк, Писемский, Помяловский, Надсон, Бальмонт, Мей и многие-многие другие. Почти у каждого из этих русских писателей в конце краткой биографии застенчивым, мелким шрифтом обозначена причина смерти: "чах.", "Алког.", исключений немного – поэт Апухтин и прозаик Гаршин – один умер от водянки, другой в горячке бросился в пролет лестницы. Однако эта блистательная русская литературная провинция успела не только бурно пожить, но и поработать, оставила за собой произведения, которые живут до сих пор, и надеюсь, многие из них перевалят этот недобрый, путанный век. А в наши-то злосчастные времена, что за поветрие повалило молодые таланты, вырвало их из земли, как саженцы, едва пустившие ростки и засветившиеся несколькими листиками да незрелыми плодами? Я мог бы рассказать множество страшных трагедий о гибели молодых людей "по причине литературы", иногда и целых семей, свидетелем и очевидцем которых мне довелось быть. Но не стану этого делать – это предмет для отдельного грустного разговора, нашим людям и без того нынче невесело живется. Руководители Пермского отделения не раз уже предлагали мне оформляться в Союз писателей, тем более что у меня вышла книжка в Москве. Но как человек обостренного, даже болезненного самолюбия и отношения к тому, что старомодно именуется человеческим достоинством, я желал идти в Союз наверняка и, если бы меня отложили с приемом "до следующей книжки" или вовсе отказали, как это бывало со многими периферийными писателями, в том числе и пермскими, я, скорей всего, никогда бы уж не подал заявление о приеме в Союз писателей и остался бы одиноличником на ниве отечественной словесности, коим и пребываю ныне, считая, что все эти творческие Союзы изжили себя, да и сама система отношений между писателями, существование их в обновленном государстве должны быть наиболее приспособленными ко времени и обстоятельствам. Бесшумно окончили свое существование Союзы художников, композиторов, а наш, литературный Союз, развалившись на отдельные узлы и закутки, все еще надеется выжить и прокормить кучу людей, спрятавших глубоко в карманы членский билет, на протяжении многих лет помогавший творческой личности существовать ни шатко ни валко, ничего не делая, ходить в "писателях", требуя себе права на избрание и избранность, на прокорм, пусть и скудный. Когда я написал повесть "Перевал", то попросил послать рукопись ее вместе с обязательными экземплярами моих книжек в приемную комиссию. Эту-то рукопись и передали члену приемной комиссии Вере Васильевне Смирновой. Она ее прочитала, написала обширную рецензию, сама из-за болезни не смогла прийти на заседание приемной комиссии. Рецензию ту зачитали вслух, проголосовали – и я оказался в Союзе, который на протяжении многих лет давал мне право числиться на работе, служил поддержкой и опорой не только мне в нелегкой и непростой жизни провинциального литератора, поспособствовал крутым и полезным изменениям в творческой жизни. И поклон земной, и спасибо Союзу писателей за это, но перестраиваться, начинать жизнь по-иному все же надо – другие времена, другие поколения на дворе и потому должны быть другие требования к слову и содержанию жизни художника. Мы все-таки жили по упрощенной схеме: руководитель – руководимый и работали по традиции, пусть и замечательной, завещанной и оставленной нам великой русской литературой. Но традиции – не окаменелость, они также подвержены времени и его изменениям. Вера Васильевна Смирнова не родня многим Смирновым, населявшим советскую литературу, она всего лишь их однофамилица, к тому же ни прозаиком, ни поэтом она не была, а числилась в Союзе по линии "театральных критиков", и не знаю, чем уж я ей по душе пришелся, но на протяжении немалого времени она "вела" меня, направляла и деликатно влияла на мой "творческий", значит, и жизненный путь. Вновь созданный Союз – писателей РСФСР – от щедрот своих и административного размаха затеял творческий семинар молодых рассказчиков России. Вера Васильевна не только записала меня в число семинаристов, но и взяла под свою опеку. Собрались мы, молодые литсилы России, в шикарном доме творчества Малеевка. Аж на целый месяц оттуда удален был всякий другой пишущий, но больше отдыхающий люд, дабы не мешал он молодым талантам думать и творить. К каждому двум семинаристам приставлялся опытный наставник-писатель, среди которых оказались Троепольский, Москвин, Зубавин, Перцов и еще кто-то, я уж сейчас не помню. Они, наставники, и жили почти безвыездно здесь же, в Малеевке. Но у Веры Васильевны был я один-одинешенек, и в Малеевку она не приезжала, я ездил к ней в Москву, пил с нею чай и разговоры разговаривал. Вера Васильевна тяжело болела и лежала – большое, непоправимое несчастье подкосило ее – прошлым летом, будучи вместе с нею в доме творчества Дубулты, утонул ее единственный, восемнадцатилетний сын, в той самой морской воронке, где перетонуло много всякого народу, в том числе и по сию любимый мною критик Дмитрий Писарев. За блаженный месяц, отпущенный мне Богом и Союзом

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru писателей, я должен был не только перезнакомиться с творческим народом, но и пообщаться с Москвой, побывать в театрах, на выставках и... написать новый рассказ. "Сильно себя не утруждайте, напишите чего-нибудь для отчета, пустячок какой-нибудь набросайте и привезите мне, – наставляла моя умная и доброжелательная руководительница, – главное, больше общайтесь с людьми, читайте, обсуждайте, соскребайте с себя ногтями провинциальную штукатурку. Вам бы, Виктор Петрович, непременно надо поучиться на Высших литературных курсах". Я поинтересовался, что это такое? Вера Васильевна объяснила, что при Литературном институте существуют курсы, на которые принимают членов Союза писателей, преимущественно с периферии, причем предпочтение отдается тем, кто не имеет высшего образования и не перевалил возрастом за сорок пять лет. "Разумеется, никакой институт, никакие курсы писать Вас не научат, но два года жизни в Москве, в творческой среде могут многое дать человеку, который хочет чего-то добиться и стремится к самоусовершенствованию", Вера Васильевна не просто говорила, но и действовала. Я был в творческой командировке от журнала "Урал" аж на Игарке, когда в Заполярный круг долетела телеграмма, что я зачислен на Высшие литературные курсы, и к первому сентября надлежит мне быть в Москве, куда с опозданием на полмесяца я и прибыл. На знаменитом, увы, ни разу более не повторившемся в том же виде малеевском семинаре были Юрий Казаков, Глеб Горышин, Виктор Потанин, Виктор Попов, Павел Макшанихин, Андрей Ромашов – более трех десятков рассказчиков было, и все чего-то сотворили иль из стола вынули написанное. Я написал рассказ "Кровь человеческая", издал его в Свердловске отдельной книжкой, там же его напечатали в коллективном сборнике – про борьбу с преступностью. И на том мое сердце успокоилось, рассказ тоненькой книжицей всунулсЯ меж других книг и забылся надолго. Увы, увы, на курсах, на Высших, в московской суете, в интересной, порой бурной жизни столичной, подзабыл я благодетельницу свою, разок-другой наведалься, позвонил, потом переезжал из Чусовского в Пермь, обустроивался в деревне, писал, читал, снова суетился. Однажды открыл "Литературную газету" – там скромненький некролог в рамочке, – не стало Веры Васильевны Смирновой – тихо, незаметно ушла она, сделав много добра людям, в том числе и мне. И ничего мне не остается, как раскаянно вздохнуть и поклониться низко той земле, которая не перестает рождать добрых людей, в коих ныне особенная нужда. За два года учебы в Москве я прошел дистанцию, которую в таком культурном центре, как город Чусовой, самостоятельно проходил бы лет двадцать, глядишь, и заскорюз бы, опустился до самого заплесневелого обывателя, превратился бы в отвальный шлак, что горит и остывает круглосуточно за рекой Усьвой, ведь мои чусовские сокружковцы, так горячо, порой не без смысла и ума спорившие о российской словесности, остались на уровне районного литкружка в качестве сочинителей, а как читатели успели даже и одичать, опуститься до завистников, кои густо населяют околелитературные ряды, превратиться в злобствующих патриотов, которым рыбьей костью поперек горла стала так называемая демократия, возможность жить, мыслить и работать самостоятельно. Во время учебы на Высших литературных курсах раздвинулись рамки моей окружающей среды. Москва с ее театрами, концертными залами, выставками, несколькими первоклассными преподавателями, единомышленниками и друзьями, много изведавшими, испытанными, уже добившимися в литературе заметных успехов, – все-все способствовало духовному просветлению и нравственному усовершенствованию, способствовало прежде всего тем, кто к этому стремился, но не только водку пил. Гуляли, развлекались и мы, седые люди, пускали в аудиториях бумажных голубей. Нина Михайловна Молева, милейший человек, преподаватель истории искусств, самозабвенно отдававшаяся своему делу, называла нас "мои взрослые дети". Да, да, мы отыгрывали и отгуливали пропущенную юность, молодость, кто и отнятое детство. Среди нас были не только фронтовики, рабочие, крестьяне, были и репрессированные, жертвы сталинских концлагерей. Они делились с нами "богатым прошлым", открывали глаза на правду. На курсах я не только много общался с курсантами и студентами Литинститута, но и пересмотрел весь тогдашний репертуар в столичных театрах, перечитал рукописи почти всех сокурсников и литинститутцев, да и сам работал, написал повесть "Звездапад", пяток рассказов, перевел по подстрочникам несколько произведений сокурсников из других республик. Счастливые, плодотворные годы. Жаль, что всего их за первую половину жизни выпало лишь два. В город Чусовой мне было возвращаться не очень-то способно. Пообещали квартиру в Перми, и я более года ездил туда – смотреть, как продвигается строительство дома, в котором была обещана квартира, – мы с женой боялись, что ее или займут, или передумают давать. Спустя восемнадцать лет после войны мы получили долгожданную квартиру, и тогда я запомнил навсегда родившуюся в ту пору поговорку, что жизнь советского человека делится на две половины: до получения квартиры и после получения такой. Квартира сдана нам была без света, без воды, без газа, с бетонными пробками в трубах и вывороченной плиткой в совмещенном туалете. Стенки ее едва

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru дышали. "Зала" была проходной, семья накопилась – пять человек. В ту пору без избы в деревне работать мне было невозможно. Вот тогда-то и свозил меня Борис Никандрович Назаровский в деревню Быковку, и для меня наступили счастливые дни и годы плодотворной работы. Все семейные тяжести легли на жену: в Быковке не было магазина, электричества, все, начиная от керосина и хлеба, надо было возить и таскать на себе, жену мою в округе прозвали "маленькая баба с большим мешком на спине". Окрестности Быковки давно и неряшливо обрублены, вырубки заражены энцефалитным клещом, и однажды сразу двое в семье – жена и ее племянник заболели энцефалитом. Я привез Марью Семеновну в город в бессознательном состоянии, но никак не мог определить в больницу. Из Союза писателей пытались мне помочь в этом безвыходном положении через обком, но завоблздравотделом фыркнул: "Мне еще только не хватало заниматься писательскими женами...". И тогда я твердо себе сказал: если жена выздоровеет, уеду из этой опустылевшей мне стороны, брошу раздутый от чванства город и спивающуюся писательскую организацию. О болезни жены узнала ее подруга, работавшая в больнице рентгенологом, и добилась места в отделении, сначала в коридоре, потом больную перевели в палату. Как только жена маленько пришла в себя, я снова повез ее в проклятую и замечательную Быковку, на лоно природы, разумея и веря, что лоно это самое – сильнее и полезительней всех лекарств. От пристани Степаново до деревни Быковка – полтора километра. Полями и лесами мы с еще недавно бегучей женой шли часа три и, когда вошли в прохладную, когда-то запущенную хозяевами, но обихоженную Марьей Семеновной избушку, тут она воскрешенно заплакала, сам я плакать ушел за баню, к утекающе-говорливой, светлой речке Быковке. И потом, когда я осуществил свое намерение, уехал с семьей в тихую Вологду, где прожил почти одиннадцать лет, в доброжелательной творческой среде, которой покровительствовало, проявляя такт и заботу, областное руководство, а раз оно хорошо, с пониманием относилось к нам, то и всякое другое население должно было ему подражать, Быковку не забывал, наезжал туда не раз. Снится она мне и по сию пору. В 1980 году я вернулся на родину, в Красноярск, и сразу же занялся тем, чтоб подыскать и купить избу в родном селе Овсянка. Мне повезло. Я купил развалюху в переулке моего детства, против бабушкиного дома, в котором в ту пору жила одна из моих теток, Апраксинья Ильинична. Здесь мне хорошо работается, за период сибирского "сидения" я успел много сделать. Начал и надеюсь закончить давно задуманный роман о войне. Все, написанное в Сибири, широко обсуждалось, печаталось, интервьюировалось, поэтому я не буду останавливаться на моем сибирском периоде. Коли я назвал свою статью не столь выразительно, как бы мне хотелось, даже по-газетному казенно, позволю себе сухо порассуждать в конце ее о том предмете, которым занимаюсь, и разумеется, о времени, в котором жил и работал. Позволю задать себе и читателям "прямые" вопросы: кто мы? Что мы? Как жили? Как работали? Получилась ли польза от моего труда? И есть ли она, польза, вообще от труда творца, художника, мыслителя? Есть, есть, не волнуйтесь! Была, есть и будет. Если б не искусство, не литература, не муки творцов, человечество давно бы уж опустилось на четвереньки, залезло бы в холодные пещеры – подыхать, потому как все время испытывало и испытывает неодолимое желание вернуться к зверю и довольно уже преуспело па этом пути. Если сегодня судить по облику и по духовному состоянию населения нашего обширного отечества, то оно уже, за малым исключением, близко к тому, чтобы потерять право называться человеком. Всю жизнь учился и учусь на писателя. Сперва писал полурассказы, постепенно овладевая навыками рассказчика, подступая к этой очень емкой форме литературного жанра, который в русской литературе исходит от устного рассказа и доведен гениями нашими до таких совершенств, что мировая новеллистика преклонялась и преклоняется перед русским рассказом. Сомерсет Моэм утверждал, что тот, кто в начале нынешнего века не подражал Чехову, не мог считаться в Англии новеллистом и вообще писателем. Мне удалось написать с пяток рассказов, достойно представляющих этот жанр, и когда я начал овладевать более пространной формой – повестью, также блистательно освоенной русскими классиками, то первые мои повести тоже были рассказами: "Стародуб", "Звездапад", но более длинными или состоящими из главков-рассказов – "Перевал". Впервые вплотную соприкоснувшись со сложностями объемного произведения – в "Краже", – я вконец запутался, не мог одолеть многие тонкости и преграды сюжетного произведения с ходу, как уже подучился делать в рассказах, особенно лирического и чисто изобразительного характера. Отдельные "номера", отступления, вставки-рассказы, биографии персонажей, смешные байки, пейзажи свершились и тут, в "Краже", но этого было мало для произведения, которое претендовало быть повестью, следовательно, должно было находиться на ближних подступах к роману. Я обязан был научиться думать вместе с моими героями, пропустить через себя, значит, через свою мысль сложности времени и судеб, действующих в нем. Без конца переписывал, марая листы повести, я не только и не столько шлифовал и отделявал текст "Кража" только на машинке перепечатывалась четырнадцать раз, – но истязал

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru себя, выучиваясь врубаться в пласт более глубокий, исследуя действительность, психологически постигая характеры героев того времени. Работая, чему-то подучился. Но с каким напряжением! С каким трудом! С какой тратой внутренней энергии! И все оттого, что с детства, как и многие из нас, советских литераторов, среди которых истинных писателей очень и очень мало, я, как и многие из совграждан, не научен был не только заниматься самоанализом, осмысливанием бытия человеческого, но и ни над чем думать не умел, прежде всего над жизнью и поступками своими, а не только всечеловеческими. Жил, как и многие из нас, механической жизнью: чего-то делал, ел, спал, иногда досыта, чаще – нет, иногда на мягком, иногда на досках, считал, что так, как есть, – должно и быть, все равно кто-то обо мне и за меня думает, заботится о том, чтобы хоть какой-то хлеб для еды, доски для спанья были, – можно ведь и на досках думать, что ты все равно живешь лучше всех, то есть думать то, чего тебе внушили, навязали, вдолбили. В тридцати-сорокалетнем возрасте я одолевал грамоту, приближался к тому самосознанию, которое литературные деды мои, прадеды, волей судьбы соратники по ремеслу: Пушкин, Достоевский, Лермонтов, Толстой, Бунин, Тургенев – "прошли" еще в раннем детстве. И когда я читал творения семнадцатилетнего Лермонтова (он в этом возрасте начал своего "демона" невыразимо загадочную притчу сложнейшего философского и художественного постижения), когда увидел рисунки семилетнего Мишеля, хранящиеся в Пушкинском доме, меня взяла оторопь и отчаяние. У меня не только руки опускались, но и душа холодела, разум болел, мозги делались наперекосяк. Куда я сдуру затесался? Как смел войти в тот храм, где царят боги? Ведь я русский литератор и занялся тем же самым делом, что и Лермонтов, и Пушкин, я приговорен был хоть в чем-то, хоть как-то приблизиться к их слову, иначе я – наглый грабитель, моральный урод (не в том смысле, как это употребляла проработочно-барабанная этика соцреализма), но в том урод, бесстыдник и браконьер, что своим плоским, бездуховным, пустым словом занимал читателя, отдирая его от величайших творений наших гениев, мешая им наслаждаться умным словом, развиваться, совершенствоваться. Нам и сейчас все еще некогда, все недосуг осмыслить наше время и подсчитать вред, нанесенный народу партийной идеологией и громоподобной, лукавой псевдокультурой. В том, что он, так называемый советский народ, одичал при всеобщей грамотности, сделался бездуховным, злым, – есть большая заслуга и современной культуры, прежде всего литературы периода всеобщего социалистического культуризма. Тот, кто не внимал нам, и продолжал внимать Карамзину, Пушкину, Лермонтову, Толстому, Достоевскому, Чехову, Бунину, не дал себя заморочить видимостью культуры, новейшему образу жизни, идеологии разрушения, ловкого притворства и лести перед своим народом, об того разбивалась псевдокультура, как замусоренная промышленными отходами волна разбивается о каменный утес. "Их было мало на челне", но они грудью встречали шквал обмана, в волнах дерьма оставались чистыми, и на горбине тех стойких утесов не было замшелости, на них, вопреки тьме и непогоде, росли ветреные сосны с чуть изверченными ветвями, цвели подснежники, шумело вольнотравье, над ними пели ветры свободы, и они же первые встречали удары бурь и молний, погибали, мыкались в застенках и психбольницах. Легко было управляться с нами, полуграмотными, полуспелыми, полуглухими, пораженными ленивомыслием. Мы такими и нужны были партийной верхушке. Тех, кто смел "поумнеть", переступить грань бездумья, согласно настольным учебникам соцреализма иль по указке сверху, начинали сразу же и совершенно справедливо считать "не нашими". Будучи слушателем Высших литературных курсов, я не пошел на похороны Пастернака не потому, что чего-то или кого-то боялся, нет, я просто не испытывал в этом надобности. Был я уже зрелым человеком и признанным литератором, когда началась травля великого русского писателя Солженицына, но ни я, ни достославные вологодские писатели пальцем не пошевелили в защиту гонимого все по той же причине: моя хата с краю. Гордиться же тем, что в травле не приняли участия, – это игра в наивное малодушие. Да, я где-то в пространных аудиториях смел сказать что-то доброе о Солженицыне, но не стоить тем тешить свое ничтожество, помалкивай, брат, может, и за бесстрашного сойдешь... Что движет сознанием художника, прежде всего музыканта, живописца, поэта? Подсознание. Оно, оно, нами не отгаданное, простирается дальше нас, достигает каких-то, может, и космических далей и тайн. Тайна и движет творчеством, потому-то все великие гении земли верили в Бога иль вступали с Ним, как Лев Толстой, в сложные, противоречивые отношения. Бог есть Дух, Он всегда с нами, даже когда вне нас, Он – свет пресветлый – и есть та боязная тайна, к которой с детства прикоснувшись, человек замирает в себе с почтением к тому, что где-то что-то есть, а когда один остаешься – оно рядом, оно постоянно оберегает, руководит нами, одаривает, кого звуком, кого словом и всех, всех – любовью к труду, к добру, к созиданию. Бога скорее и яснее всех чувствуют невинные дети, потому как не знает еще их маленькое сердце сомнения. Вот хитрованы-большевики и прививали свою веру, как

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru

холеру, нам с детского возраста и, отлучив от высшей веры, приблизили нас к низшей, вредной, растлевающей морали, заразили безверьем два или три поколения. А высшая вера – это всегда трудно. Надо быть чистым помыслами и сердцем, постичь немислимое, отгадать высший смысл веры, пытаться донести до людей то, что постиг ты с помощью Божьей, даровавшей тебе отблеск небесного света, пения, что зовется небесным, донести, как высший дар, до других людей. Я всегда восхищался и восхищаюсь математиками и музыкантами, владеющими единой системой общения и выражения своих чувств, – они мне кажутся наиболее свободными и совершенными людьми. Недаром же им завидовали даже самые свирепые властители и завоеватели. Вытаптывая, выжигая земли и государства, все живое сметая огнем войн, громадами войск, даже самые беспощадные полководцы, как правило, щадили математиков, музыкантов, поэтов, строителей, садовников, звездочетов, отгадывателей "водяной жилы". В девятом-одиннадцатом веках воинственные арабы достигли могущества и процветания своих государств не только мечом и огнем, но и науками. И вот в двадцатом веке, в середине цивилизованных стран появляются совершенно дикие силы – фашисты и коммунисты – и начинают расправу в первую голову именно с интеллекта своих наций, не понимая, что подрубают сук, не только тот, на котором сидят сами, но просто сокрушают все дерево, и в том лесоповале губят и себя тоже, свою бойкую, зубастую, что акула, науку борьбы со всем и всеми, "кто не с нами". В тюремные ямы они бросили писателей, я уже их перечислял: Клюева, Мандельштама, Корнилова, Артема Веселого, Зазубрина, Васильева, князева, Заболоцкого, Смелякова, Ручьева и множество-множество других, предполагая в них наипервейших вольнодумцев. С теми же, кто остался или подрастал, поступили, как с соловьем в басне Гаврилы Державина: "Поймали птичку голосисту и ну сжимать ее рукой. Пищит, бедняжка, вместо свисту, а ей твердят: „Пой, птичка, пой!?"". Коли еще дальше, еще глубже влезать, вмешиваться в подсознание. – начнется разлад души, человека истерзуют противоречия. Даже такой титан мысли, как Лев Толстой, повергнут был в смятение и, в конце концов, изведав страх греха, пришел к смирению, к согласию с тем, что было непостижимее и сложнее даже его могучего сознания. И чем дальше будет существовать и вызревать человек, тем сложнее будет его отношение с подсознанием, ибо сознание – есть материя почти отгаданная, все же, что дальше сознания, что за пределами его – вечная тайна, кою человек всегда будет стремиться отгадывать и, отгадывая, неизменно, как и прежде, будет совершенствоваться, одаривать мир великими творениями и красотой, если, конечно, путь его вновь не заступит что-то, подобное фашизму и коммунизму, препятствующим нормальному ходу жизни, упрощающим человека и человеческую мораль до всеобщей наготы, до скотского отправления, недаром же любимейшими словами коммунистов были слова: темпы и ускорение. Коммунисты со своим схоластическим умом, отвергнувшие все сложности жизни и загадки бытия, хотели сразу же, без Бога, без веры, без боязни "темных сил" проскочить в рай и по дороге к тому раю не знали никаких преград. Ни кровь, ни муки человеческие, ни страдания, ни стенания не должны были смущать тех, у кого "вместо сердца пламенный мотор", в голове – оупляющий наркотик чужого учения, сулящего скорый путь ко всеобщему благоденствию и неслыханным победам. Над кем? Над чем? Но наркоман с воспаленным разумом, на задворках которого остались лишь инстинкты разрушения, насилия и мстительности, не способен задумываться над своими поступками, тем более, над окружающей его действительностью – ему на все наплевать. Он – разрушитель. Он всегда антиморален и поэтому громче всех орет о морали. Орет, как и живет, механически, бездумно движимый все теми же первобытными инстинктами, которые в начале зарождения жизни заложила в него природа. Ему нипоч?м и лучшая часть человечества, поднявшаяся до постижения Бога, взывающего к смирению, покаянию, неторопливому труду, велящему не брать, а отдавать. Все лучшее в сердце и сознании человека новым идеологам удалось притупить, загнать на задворки человеческого сознания; тупая машина новых чудо-идеологий, как мельница, перемалывала каменным жерновом все то, что природа, культура и труд заложили в человека; ускоренными темпами происходила деформация вечных, выстраданных истин, скороспелыми посулами братства, равенства и свободы "борцы за правое дело" замутили человеческий разум, а доверчивое сознание русского человека исказили, вывихнули. Во время второй мировой войны классик скандинавской литературы, лауреат Нобелевской премии Кнут Гамсун посетил фашистский корабль, – очень плохо, позорно поступил, но то, что советские классики табунами ходили на поклон к партийным советским вождям, пили с ними вино, даже танцевали вприсядку – это очень хорошо и даже замечательно! Пролетел на военном вертолете над пламенем объятым Вьетнамом классик американской литературы Джон Стейнбек, полюбовался на действия сынов своей свободной страны, дошедших до непотребства и озверения, – зачумленный черносотенец Стейнбек никакой больше не гуманист, отныне он и не друг советского народа. А вот ловкий, молодой да ранний "творец" соцреализма, подсуевившийся в Афганистане, где наши доблестные войска в зверстве не уступали

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru ни фашистам, ни тем более американцам, своим продажным перышком обратил преступление в героизм, и сразу сделался выдающимся деятелем современности, лучшим другом советских генералов, передовым глашатаем за Россию и русский народ. В непонимании, искажении, затуманивании смысла жизни и человеческого назначения – самая большая уязвимость коммунистической морали. Шипящие, ядовитой слюной брызгающие остатки коммунистической банды, жаждущие лишь одного – отомстить! – не понимают по ввинченной в их упрямые башки бетонной ограниченности, что наваждение кончилось, что историю не перепишешь, жизнь не повернешь вспять. Кому отомстить? За что? А за то, что перестали их слушать и слушаться, раболепствовать перед ними, стоять на коленях? После путча, испугавшись поначалу, что с ними, с коммунистами, поступят так же, как они поступали со всеми побежденными и сваленными с ног, то есть будут бить лежачих, постреляют их, поотрубают им головы, загонят в лагеря; уяснив, что этого не будет, что на них пытаются воздействовать морально, а на всякую мораль они давно не только наплевали, но и наклали большую кучу, "борцы" снова начинают поднимать полуоблезлые головы, искать виноватых, лгать, изворачиваться, метать из ноздрей революционное пламя. Им даже удалось убедить часть ими же сбитого с панталыку населения в том, что "ничего не переменялось, они еще придут и всем по мозгам дадут..." Между тем уже начался суд истории, самый нелюбимый, никому неподвластный, от него ни загордиться, ни спрятаться, главное, не переорать его, в чем коммунисты первейшие мастера. В Софии в октябре 1991 года состоялась международная конференция с непривычно и пока еще жутко для нашего робкого ума звучащей темой: "О преступлениях коммунизма перед человечеством". Наша велеречивая, ловконьякая пресса сообщила об этом на средних полосах, в уголке, петитом, – на всякий случай перестраховываясь перед давно всеми разумными народами проклятым набегом на человечество красной орды, с красной, заразной чумой в сердце, со злым неистовством, жесточайшим эгоизмом самосохранения в голове. Но я отвлекся, то есть не вовсе отвлекся, ибо творчество вне времени, вне жизни невозможно. Далее хочется порассуждать о том, как оно, это творчество, или точнее, творческая самостоятельность дается нам, как мы ею овладеваем, выживаем как. Вот пришло время писать давно задуманный роман о войне, и я снова учусь, в этот раз на романиста. Да, опыт непрерывного, школярского усердия не прошел даром, Богом данное дарование помогло мне в обращении с материалом, уж не схвачусь я с ходу за материал и замысел, возникший в голове, подожду, подумаю, глядишь, замысел-то и улетучится, значит, не мой он, "мой" никуда не денется, замучает, затерзает, но заставит "рожать его". Уже нет надобности перепечатывать рукописи четырнадцать раз. Молю Бога, чтобы работа над романом уложилась в двадцать лет, в пять-семь перепечаток, иначе мне просто не успеть завершить эту книгу. Легче ль, проще ль сделалось работать? Нет, не легче и не проще. Вот пишу я роман и вижу, что это вовсе и не роман, а рассказ огромных размеров или все та же любимая мною повесть, состоящая из отдельных кусков и рассказов. Лоскутное одеяло – оно тоже одеяло, теплое и даже красивое, под ним можно спать. И все же шились лоскутные одеяла по нужде, из-за нехватки "сырья", но старанья, раденья, усилий, уменья, труда лоскутное одеяло требовало от творца куда больше, чем одеяло из цельного лоскута или куска мануфактуры, чаще всего сатина или ситца. Снова с нуля, снова преодоление себя, своей неполноценности, сознания, что не дошел и не дорос до построения такой сложнейшей, многоэтажной конструкции, как роман. Тут в самую пору придутся слова из "Азбучной истины" болгарского поэта аж девятого века Константин Преславского в переводе Валентина Арсеньева: ...Милости возжаждав от крещенья... Ныне я о помощи взываю. Отче, Сыне и Пресвятым Душе, Пусть сойдет ко мне живое слово, Руки воздымаю – дан мне мудрость, Силу, что с небес своих обильно Уберечь молю от гордой злобы фараонской, исцели и дай мне Херувимов шестикрылых силу... В рассказе, даже в повести еще возможно как-то инстинктивно увернуться от встречных, очень опасных препятствий: недостатка знаний, прежде всего богословия, в котором заложены и осуществлены все высочайшие постижения человеческого. Возможен ли новый Шаляпин? Как, впрочем, и Пушкин тоже? Шаляпин-то может и появится, но вот явится ли среда, в которой могучий талант может раскрыться, – в этом я шибко сомневаюсь. Вон какой свал идет в шаляпинском-то театре, в Большом. Там голый голого дерет и кричит: "Рубашку не порви!" Блистательная труппа Большого театра, сформировавшаяся еще в дореволюционные времена, смогла продлить себя в одном или даже в двух поколениях, по инерции возникали и утверждались здесь великие певцы и танцоры, единицами сияя на когда-то многозвездном небосклоне, но и развал надвигался неизбежно, и сколько же в этом свале погублено и растерзано талантов. Театр, где первенствовало не искусство, а парторганизация, сделался притчей во языцех, "накал принципиальной борьбы" в нем за высокое искусство сделался столь яростен и неприимим, что многие от него сбежали за рубеж, иных просто выкинули за порог, – время посредственностей не терпит ничего выдающегося, последовательная

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru
коммунистическая борьба, как молния, сечет и обезглавливает прежде всего высокое. С тревогой слежу сейчас за тем, как зарождается новая, сильная труппа в нашем великом театре, убеждаясь в том, что русская земля не обесточилась еще, не обессилела и способна рождать первоклассные таланты – только бы не завелась здесь снова всепорожающая, растлевающая красная чума. Я уж не говорю о горькой судьбе провинциального театра, объединений художников, музыкантов, писателей. Если бы те усилия, ту крысиную грызню, которая в них происходит, обратить на труд и пользу, мы бы завалили первоклассной продукцией весь свет и "на весь крещеный мир изготовили бы пир!", но бороться, поднимать бури в провинциальном самоваре всегда легче, чем работать, делать полезное дело. Антисреда? Антижизнь? Антитруд? Антиискусство? Какой народ, какая культура выдержали бы то, что у нас свершилось? Только очень сильный народ, только мобильная культура. В нас заложены крепкие мускулы, большой духовный заряд, которому мы, увы, предпочли заряд разрушительный, взрывающий, потому как убивать человек научился раньше, чем думать, творить, и эта работа ему привычнее. Германию и Китай спасло от гибели и угасания, принесенного фашизмом и коммунизмом, то, что все это мракобесие было кратковременно, и еще то, что немцы не затянули войну на своей территории. Случись затяжка, наша армия ограбила, растлила, загнала бы в колхозы немцев навсегда. Не успели наши благодетели коллективизировать сельское хозяйство и разум человека ни там, ни там, и немцы, и китайцы остались частнособственниками, китайцы даже в городе остаются крестьянами и ремесленниками, а немцы хоть в селе, хоть в городе – несравненными тружениками. Те, кому удалось в наши дни осуществить перестройку и добиться улучшения жизни: Чили, Южная Корея, Турция, так называемые страны бывшего соцлагеря, прежде чем начать перестройку, пересадили коммунистов в тюрьму, чтобы эти главные смутьяны не мешали делать дело. Вон они, загнанные в угол, недобитые, изо всех сил мешают осуществлять реформы, спокойно жить и работать народу, "с свинцом в груди и жаждой мести" снова рвутся к власти, чтобы начать расправу над остатками издерганного, пострадавшего народа. И снова им удастся обмануть замороченных ими людей посулами, убедить послушное население, что не они виноваты в развале Союза, в обнищании народа, как и прежние лжецы, они следуют по нехитро заданному курсу: царь виноват, враги народа, оккупанты, "унутренние" враги, идеологические диверсанты, теперь вот демократы, хотя демократией, стало быть, и демократами в России еще не пахло. И на обмане, горлохватстве, стадном, зверином инстинкте коммунисты могут повлечь толпу в новый переворот, прийти к власти, как Наполеон, на сто или двести дней, и, как император-авантюрист, сумеют за короткий срок залить Россию и ее окрестности кровью. Но это уже будет последнее сошествие антихриста на землю русскую, остатная кровь нашего народа – на большее его просто не хватит. Большая часть наших сил уходит на преодоление самих себя, своего гражданского и нравственного несовершенства, у меня, плюс к тому, еще и физический недостаток – большая от контузии голова, испорченное на войне зрение, что не дает возможности запоем, как в детстве, читать и в чтении находить то, чего недобрал в жизни. С помощью книг, музыки, природы, театра, дружеского общения возможно преодолеть свое дремучее невежество, свои провальные, губительные недоборы в области культуры. Но время-то неумолимо, второй же жизни Господь не отпустил, чтобы наверстать упущенное. "Да полно тебе гневить Бога-то!" – могут сказать мне знакомые и друзья, но я-то свои возможности ощущаю лучше, чем они, и эти возможности, не реализованные мною, мучают меня, требуют не довольствоваться полутрудом, полусловом, полузвучком. Они требуют написать не просто толстую книгу, которую ныне я написал бы запросто и даже зарядил бы какой-то энергией занимательности, наделил элементами красоты и построил бы ее, может, и умело. Но мне-то хочется написать роман настоящий, мой роман, ни на чей не похожий, не портящий высокой романной песни, звучащей могучим хором на просторах Великой русской литературы, подняться к высотам постижения истины, постижения смысла наших невысказанных, неисчислимых страданий. Значит, надо работать, работать, работать, и пособляй мне Бог в этом, да поменьше мешай суета, жестокая жизнь, убогий быт, так много сил и нервов отнимающий у всех людей на нашей забедованной земле, вечная изнурительная борьба за кусок хлеба, уже растерзавшие, унизившие народ до того, что силы и терпение его на исходе. Несколько лет назад весной я снова побывал на Урале, в городе Чусовом – надо было поклониться могилке маленькой дочки, старшей дочери могила находится в Сибири, мы ежемесячно бываем "у нее", махонькая же, поди-ка, тяжелой землей раздавленная, все одна да одна, хотя и гнетет нас с матерью чувство вины перед нею, и в памяти нашей она будет вечно. В прошлый раз, когда мы с женой приехали лет через восемь в Чусовой и собрались на кладбище – день был весенний, ясный, однако, пока мы собирались, ехали, как это часто бывает на Западном Урале, все быстро и резко изменилось. Когда мы с трудом нашли ограду с могилами многих родных жены, вместе с которыми покоится и наша дочка, – свету белого уже не было

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru

видно, ураганный ветер хлестал снегом, завывал в кладбищенских голых деревьях, набатно брэнчал железными венками... Схватившись за острые прутья ограды, побледневшая жена моя, обливаясь слезами, в голос казнила: "Каменьями надо, каменьями..." Да, за отношение наше к нашим предкам, родным и близким, за покинутые и поруганные русские кладбища, в том числе и воинские, не только нас, аховых родичей, но и весь наш загнанный народ Господу следовало бы побить каменьями, он уже и начинает это делать, правда, нам все недосуг сие заметить, думаем, что беды, как кирпичи с неба, падают случайно, вовсе не по нашей вине падают на наши головы, просто наверху не туда и не в тех целются. На этот раз я решил ехать на кладбище пораньше, пока держит весенний наст, потому как мне сказали – снегу там по уши. Так оно и оказалось. Из сажай засоренного, местами уже осевшего черного снега торчали лишь вершинки могильных знаков и кое-где острые пики железных оградок. Это кладбище начиналось при мне, на Красном поселке – место так названо из-за того, что здесь сплошь залегла красная глина, по ней окраина поселка. Голо тогда было на скорбной горке, неприятно, ветрено. Могилы в глине и камне копать было трудно, но копали, хоронили – много сразу после войны умирало людей, быстро заселялась красная горка. Мне довелось покопать и нозаривать людей столько, что я устал это делать и какое-то время вовсе не ходил на кладбище. С тех послевоенных лет на Красном поселке, по кладбищу вырос лес на могилах, посаженный людьми, и из семян, принесенных ветром с горных лесистых перевалов. Много на кладбище горьких осин, погрызенных зайцами, с прошлого раза я помнил, что возле ограды наших могил взнялась осина почти в обхват, но я не мог с ходу найти ту ограду, ту осину, хотя казалось, так хорошо знал и помнил это кладбище. Еще и еще заходил я от ворот по главной аллее, еще и еще дивился кладбищу, превратившемуся в лес, где меж деревьев пестрели пирамидки, кем-то придуманные укосины и редко, совсем редко кресты. На железных памятниках – город-то металлургов – были звезды и крестики, но шпана сломала их и погнула. Чего удивительного? У нас добры молодцы, не знающие, куда девать силушку свою, ломают будки на автостоянках, телефонные автоматы, крушат скамьи, ограды, памятники, в подъездах – двери и перила – такая могучая энергия разрушения накоплена, надо ж ей где-то выход найти, вот она и действует. На Красном поселке, как и на многих других кладбищах, некоторые памятники упали, их собрали в кучу, они ржавеют, сыплются на черный снег коростой ржавчины. Здесь же вьются белыми пятнышками вытаявшие следы зайцев – нашли косые безопасное место, прижились. Вверху пели зяблики, тенькали синицы, хрипело воронье, справляя свои базарные свадьбы. Из-под горы наплывали запахи гари и дыма – там тяжело вздыхал, парил разноцветными дымами усталый современный прогресс. Ограду с "нашими" могилками я все-таки нашел, положил купленные у кавказских братьев гвоздики. С кладбища я уходил, когда солнце стояло уже высоко, черпал сапогами снег, затем долго сидел на горе и глядел вниз, на город, прижатый к берегам трех красивейших горных рек: Чусовой, Вильвы и Усьвы. В этом городишке прошла моя молодость, родились и выросли дети. Зачем? Почему здесь живут люди? Накануне я весь день провел в городе, обул сапоги, насунул кепку и потопал "изучать жизнь", – одна из линий третьей книги романа "Прокляты и убиты" должна пролечь по Уралу и надо было хотя бы зрительно освежить память. Но что тут обновлять и освежать? Ничего на Урале не переменялось, дряхлое сделалось еще дряхлее, дурное – дурнее, больше грязи и дыма, хотя больше-то уж вроде и невозможно вытерпеть. Под косогором, с которого скатывается что-то, отдаленно напоминающее асфальт, вдавшись углом в пустырь, под электрические опоры – забранный досками огород, в нем несколько кустов смородины, крыжовника, были еще черемуха, сирень и другие посадки. Молодые деревца скрывали убожество избышки, собранной из старых бревен, из крашенных и продырявленных болтами вагонных досок, крыша, наполовину крытая толью, наполовину железом, – мое и моей семьи первое послевоенное жилье, мною же и сооруженное. Похоронная процессия всегда до конца нашего огорода следовала под похоронный марш. Но дальше и выше в гору оркестранты давали себе передышку. На горе были знаменитые Жучихины ямы, туда еще до революции санобоз, содержимый предприимчивой женщиной Жучихой, вывозил выделяемое населением добро. В мою здесь бытность этим делом занимался горкомхоз. Старые, едва прикрытые бочки тащили в гору заезженные лошади, но после ливней ямы переполнялись, все нечистоты стаскивало обратно, зимою дорога обмерзала, и тогда лошадей и машины сдержат было трудно, бочки гремели, машины "гуляли", все сметая на своем пути. Каждой весной, люто ругаясь, я чинил огород, после чего садился за старый стол, притиснутый к стене, и под звуки похоронного марша, под грохочущий санобоз писал бодрые худпроизведения, иногда с претензией на юмор. Очень в те годы много хоронили молодых женщин, часто без музыки, под рвущий душу отчаянный плач – то были жертвы изощренных преступлений, творимых Сталиным и его осатанелыми шестерками – запрещены аборт, запрещены после войны, когда бывают неперенные прибавки населения, жизнь была сверхтяжелой, и заботливые отцы-благодетели

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru таким вот способом боролись за восстановление населения страны... Что делалось! Что делалось! Женщины гибли от самоубийств, травились саморучно сготовленными изгонными зельями и, если не погибали, то следовали в тюрьму вместе с тайной акушеркой и, как правило, оттуда не возвращались. По воле мудрых правителей погибало сразу трое русских людей: мать, ребенок и подпольщица – сталинские лагеря не выдерживали и мужчины, что говорить о женщинах. Забор нашего огорода и перестроенная, поставленная на фундамент избушка сохранилась, забор опять снесен – щепье валяется, но избушка жива. Напротив нашей избенки строились когда-то, садили деревья на засыпанном отроге оврага наши родственники, так у них не только ограда, но и столбы, и лиственницы, выросшие до опор, – сметены, искрошены. Оставшаяся одна-одинешенька свояченица сидит среди щепы, собранной в огороде на топливо, и повествует о том, что построены на горах отстойники, даже и очистительные сооружения, но, как все и везде у нас, часто они ломаются, выходят из строя, и тогда течет все добро прежним путем, по дороге. Вот так-то стекло, текло, намерзло, намерзло да и в катушку дорога превратилась, по катушке той лесовоз да тоже, видать, неисправный. "Ка-ак понесло его, милого, вниз, так и давай он все сметать на пути, перелетел через канаву, сшиб огород, деревья, остановился, на него тут же верхом надели „жигуль?, „москвич? и еще транспорт разный..." Ох-хо-хонюшки! Ехал я от Перми до Чусового на электричке, мимо вокзалов станций и полустанков, некоторые, еще дореволюционных, демидовских времен, вросли в землю, белели торцами штабеля леса, прели хлысты брошенных лесин и черная лось. Мне тридцать лет назад казалось, что с лесом на Урале уже покончено. Мне говорили за рубежом, что за погубленное, брошенное и промотанное нами добро, только от одной нефти сотни миллиардов, можно было многое сделать, даже золотые каемочки на дорогах навести, но... не в коня корм. По-прежнему старчески вздыхает натруженный завод, курясь равнодушно дымами; за рекой Усьвой вспыхивает небо от вылитого раскаленного шлака. Внизу, на грязных улицах, возле черных от копоти домов копошится народ, что-то даже строится – и не простое, а модерновое. Ближняя от нашего жилья была пятая школа, где начинали учиться мои ребяташки, называлась она "татарской" оттого, что в округе жило много татарских семей. По баракам, неуклюже, в два этажа рубленных, обреталось много пролетариев, нашим детям было самое место в той, со стороны оврага бревнами подпертой, школе. Анна Ивановна, ликом схожая с усталой крестьянкой, но не с бодренькой совчительницей, раздавала почти всю свою зарплату своим ученикам – на завтраки (тогда всего гривенник), барачные папы и мамы – нами порожденное человеческое отребье – пропивали все, вплоть до последнего гривенника и рубах. Сгнила "татарская" школа, наверное, покинула сей свет и пожилая сердобольная учительница. На месте школы сооружено здание под стиль "а ля рюс", все в деревянной резьбе, с залом, нумерами, кухней, окна с петухами на наличниках занавешены непроницаемыми, стильными занавесками, как в шестом районе Амстердама, где в каютах за стеклами сидят красотки и во время "сеанса" застенчиво занавешиваются, – бардаки там буржуазные, а это вот нарядный советский чусовский бардак, только именуется хитро: "Дом для приемов". Как пели в тридцатые годы: "Цыпленок тоже хочет жить". Чусовское начальство давно доказало, что его запросы и вождения нисколько не хуже и не ниже, чем у "тех", что наверху. На рынке наподобие петушков там-сям выстроены ларьки для индивидуальной торговли, тоже все в деревянной резьбе и лаке, стоят меж грязных луж и рытвин, но никто в них ничем не торгует. И свор грязных, разномастных собак не видать – пришили их бичи или кавказские братья на "бараньи" шашлыки употребили – любят они повертеться в наших бесприютных русских дырах. Около проходной завода, на фоне полинявшей грязной скульптуры Ленина толпится народ. "Митинг, – подумалось мне, – это в смирейшем-то городишке!.." Но то был не митинг, то рабочие металлурги после смены штурмовали автобус. Одна баба, похожая на медведя, ревя зверем, размахивала сумкой направо и налево, пробивая себе путь к транспорту. Никаких автобусов прежде в Чусовом не было, с работы и на работу люди ходили пешком, жизнь ютилась подле и вокруг завода, но когда от металлургического завода отпочковался в отдельный ферросплавный завод и стал выделять совсем небывалый смертоносный чад, Министерство черной металлургии вынуждено было пойти на расходы, и решено было строить мост через реку, начать строительство жилого массива, чтоб хоть частично спасти жизнь новому поколению металлургов, а то ведь и до пенсии многие не доживают. Когда шел я по главной аллее кладбища отыскивать могилы родственников, куда ни посмотрю: и направо, и налево все знакомые фамилии я же в Чусовом вставал на учет в военкомате, работал на разных работах, в газете, на радио, и многих-многих жителей города знал не только в лицо, но и пофамильно. Лежит на этом кладбище и знакомый врач, большой, добродушный выпивоха, хвалился он когда-то: "Почти всех, что здесь покоятся, я лечил..." Редакция "Чусовского рабочего" находится теперь за рекой, в Новом городе. Сходить бы надо, но посмотрел я газету – и расхотелось. В бытность нашу

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru в "Чусовском рабочем" мы тоже были верными приспособленцами, послушными исполнителями, как и вся совпресса, оскверняли родное слово, но до подлостей повального порядка все же не доходили. Газета "слепо" напечатана, целые столбцы смазаны, она почти нечитабельна, – это при своей-то типографии! Бывало, наши рассыльные не успевали обувь чинить, бегая от редакции до типографии, которая располагалась отчего-то на железнодорожном товарном дворе. На четвертой полосе газеты все в порядке: напечатаны объявления, реклама, даже линейки, виньетки, рамочки – все путем, все как надо! – за это платят. Стишки, обличающие демократов, в газетке тоже четко напечатаны, – стишки под мне известным псевдонимом старый чусовской демагог-партократ скрывается за тем псевдонимом – жив курилка, борется, воняет в валенки перепрелой вонью. Мы до чего дошли-то? До чего дожили? Мне говорили, мол, директор завода и администрация города – неплохие, но ведь это среди совсем плохих! Попробовал бы хозяин завода, скажем, в Питсбурге или в Бристоле, не привезти рабочих на работу и не увезти с работы – трудящиеся его вместе с заводоуправлением снесли бы, камнями забили, заодно и власти городские, сыто наверху дремлющие, разогнали бы. Как привычно – власти хорошие, но в городе нельзя жить. Впрочем, по Уралу, да и только ли по Уралу, есть немало городов и городишек, в сравнении с которыми грязный Чусовой – райское место. Город Красноярск, в котором я живу, разве лучше? В нем тоже нечем дышать. Дети мрут как мухи, рождаемость давно отстает от смертности. Секретные, спрятанные под землей города-спутники, начиненные урановой супер-продукцией, радиацией, фтором и массой других отравляющих веществ и гадостей, днем и ночью убивают людей. "Зачем? Почему здесь живут люди?" – еще и еще задавал я себе вопрос, сидя на горе и глядя на город моей молодости, затянутый пеленой газа, дыма, сажи. Но здесь в пору спросить: зачем мы вообще живем? Зачем родились? "Приемлем с жизнью смерть свою, на то, чтоб умереть, родимся?" – гремел когда-то Гаврила Державин. Зачем нам выпало жить в стране, превращенной в помойку, в душегубку, в холодный карцер, куда бросают провинившихся зэков граждане начальники? "Но раз мы люди и в такое время жить нам выпало никуда не денешься", – это самоцитата из одной моей ранней повести. Ее я набросал мимоходом, не думая, что она со временем делается такой злободневной, почти пророческой. Нет у нас запасной родины, нет другой жизни, значит, надобно все вытерпеть и пережить ради того, чтобы обиходить, спасти эту забедованную, ограбленную, почти убитую землю, на которой нам выпало жить, наладить жизнь, которой наградил нас Создатель, сохранить в себе душу ради того, чтобы во всем и во всех она была века, веки-вечные жива. Утром я уезжал на станцию из спортивного лагеря "Огонек" и на рифленом заборчике старого чусовского кладбища увидел крупно, суриком написанное: "Да здравствует КПСС! Слава товарищу Сталину!". О, родина моя! О, жизнь! О, мой народ! Что вы есть-то? Чего еще надо сделать, чтобы прозреть, воскреснуть, не провалиться в небытие, не сгинуть? И если ты еще есть, мой народ, может, вслушаешься в вещие слова современного гонимого поэта: "А может, ты поймешь сквозь муки ада, сквозь все свои кровавые пути, что слепо верить никому не надо и к правде ложь не может привести". Но закончить все же хочется мне не назиданием, а заветом, что всегда у меня на столе, выписанном из стихов вологодского поэта Сергея Чухина, тоже рано себя сгубившего: Работай, мой друг, Душою чист, Один проходи науку. По правую руку Бумаги лист, И сердце По левую руку. Но легче будет писать вдвоем, Если, Навек условясь, Рядом с тобой Поводырем Незамутненная совесть. А трудно станет В пургу и свист, Поделят поровну Муку: По правую руку Бумаги лист И сердце По левую руку. ...Прошло более четырех лет со дней написания этой статьи для собрания сочинений, издание которого в современных экономических условиях осложнилось и задержалось. За это время я написал и напечатал две первые книги романа о войне, он называется "Прокляты и убиты". Первая книга – "Чертова яма", уже неоднократно изданная, и вторая – "Плацдарм" – подвергнуты разбору в печати, получены на них письма от читателей. Как я и ожидал, читатель высокопоставленный – это еще не значит – высококультурный, подвергает роман разносу, пользуясь старой, но для них, высокопоставленных, неизносимой моралью и терминологией: – "Мы победили, и это главное", "Клевета на войну", "Поклеп на все святое, главное, на партию", "Где автор это такое видел? Было не так, а вот как?", ну и т. д. и т. п. Да, увы и ах! Времена-то изменились, генеральские окрики не только на писателя, но и на подчиненных мало или почти не действуют. Главные, как всегда для меня, письма от людей, видевших войну из окопов, а несколько писем – от солдат, служивших в том же Бердском полку одновременно со мной или за мной, и я непременно помяну их в тех томах, где будет напечатан роман "Прокляты и убиты". За это время не только писалось, но и думалось много – более всего поразило меня воскресение гидры – коммунистической партии, давно уже и закономерно превратившейся в партию фашистскую, сеявшую смуту и злобу на нашей усталой земле, и снова часть замороченного народа, пока, слава Богу, небольшая, вместо того, чтобы молиться,

Астафьев Виктор Петрович Подводя итоги astafevvictor.ru
готова бороться, бить, побеждать, чтобы вернуться к тому прошлому, когда была дешевая колбаса. Поразительная страна! Феноменальный народ! Шел-шел по трупам и потокам крови к светлому будущему, теперь готов идти тем же кровавым путем к "светлому" прошлому. На Руси Святой, более всех других государств пострадавшей от немецкого фашизма, расправляет крылья, каркает и готов взлететь фашизм советский, уже идеологи свои появились, доказывающие, что без свалки и крови на обратном пути никак не обойтись, надо жертвовать собой и детьми своими, а партия сумеет за все за это отблагодарить. И все это снова от имени народа делается недобитыми коммунистами и воротилами, готовыми ввергнуть его в пучину кровавых бедствий, и уже снова попробовано пролитие крови. Мы, русские, так ничему и не научились, все неисчислимые жертвы и муки народа, войну перемогшего, кажется, забыты. Это в стране, где народ до сих пор не восстановился, население после войны не прибыло, а ubyло. Запуганный большевистской демагогией, во все времена обманываемый народ, снова желающий обмануться, вроде как бы не понимающий простых истин, так и не пришедший к Богу с покаянием, народ, подверженный сомнению и не верящий, что "никогда, ничего не вернуть, как на солнце не вытравить пятна, и, в обратный отправившись путь, все равно не вернешься обратно". Отученный свободно жить и отвечать за себя, русский народ хочет обратно в стойло, под ярмо, к общей кормушке, в общую тюрьму, на общие нары. Конечно же, часть населения, которая не потеряла еще разума и отлично сознает, куда его тянут авантюристы и пройдохи ленинско-сталинской выучки, как может, сопротивляется этому, протестует, пытается оградить доверчивых и несчастных людей от нового безумия, от новой крови, и потому написалась у меня "внеплановая" повесть под первоначальным названием "Не надо крови". Не надо! Всем строим и содержанием этой повести, – она опубликована под названием "Так хочется жить" – действие в ней простирается от войны и до наших дней, я пытаюсь образумить, предостеречь людей русских – нам не выдержать новой смуты, если мы схватимся в междоусобице. Это будет уже последняя кровь. Пока еще есть надежда, пусть и небольшая, на спасение народа, воскресение Руси. Но если начнем свалку, – ничего не останется: ни народа, ни государства нашего Великого. Есть в задумке рассказы, "затеси", повесть для детей о собаке. Дал бы Бог силы творцам и народу успокоение, да хоть сдвиги и надежды на улучшение вконец расшатанной российской жизни, все тогда планы осуществляются, и мечты сбудутся. Поживу еще и поработаю во славу Отечества своего и в уладу усталой души. Мира, покоя и хлеба желаю я себе и всем моим соотечественникам. 1992–1996 гг. Овсянка – Красноярск
Примечание Сейчас везде и всюду у нас торгуют, значит, и чусовские ларьки действуют.

Спасибо, что скачали книгу в бесплатной электронной библиотеке
<http://astafevvictor.ru/> Приятного чтения!
<http://buckshee.petimer.ru/> форум Бакши buckshee. Спорт, авто, финансы, недвижимость. Здоровый образ жизни.
<http://petimer.ru/> Интернет магазин, сайт Интернет магазин одежды Интернет магазин обуви Интернет магазин
<http://worksites.ru/> Разработка интернет магазинов. Создание корпоративных сайтов. Интеграция, Хостинг.
<http://filosoff.org/> философия, философы мира, философские течения. Биография
<http://dostoevskiyfyodor.ru/> Приятного чтения!